Исаак Башевис
ЗИНГЕР

СЫН из Америки

Исаак Башевис
ЗИНГЕР

СЫН ИЗ АМЕРИКИ

РАССКАЗЫ

Перевод с английского
А. Величанского

Москва
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА «ПРОГРЕСС»
«КУЛЬТУРА»
1993

ББК 84.7 США
3-63

Составитель сборника *А.Л. Величанский*
Предисловие *Т.А. Ротенберг*
Художник *В.К. Бесингалиев*
Редактор *Е.И. Солдаткина*

© Перевод на русский язык, предисловие, художесвенное оформление издательская группа «Прогресс», 1992

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мы никогда не «прочтем» того, что сохранил для нас один из интереснейших писателей нашего времени Исаак Башевис Зингер, потому что, как заметил составитель и переводчик этой книги, «его рассказы как на золотом диске записаны на всеми забытом языке, и непосвященные вынуждены слушать их на пластмассе». Зингер рассказывает, как правило, от первого лица — своего или одного из своих героев. Свободно и доверительно, будь это даже тот, «кого никто не любит и все живущее клянет». Однако, по счастью, перед нами чертова дюжина рассказов едва известного у нас лауреата Нобелевской премии по литературе, тщательно отобранная и бережно «озвученная» прекрасным поэтом и переводчиком Александром Величанским, чьи книги начинают выходить у нас лишь сейчас, с опозданием на жизнь их автора. Нужно сказать, что в нашем «черно-белом» восприятии есть элегантность полевых цветов. И все же при воссоздании ушедшей культурной традиции, когда перевод делался с языка-посредника, мы не можем ощутить все краски мира Зингера.

Первый роман писателя, вышедший на английском,— «Семья Москат» (1950) — открыл Америке, куда писатель эмигрировал из Польши в 1935 году, а вскоре и читателям других стран неповторимый и уже исчезнувший мир. Четыре из восьми его романов посвящены жизни польских евреев с конца прошлого века до захвата Польши, когда все, кто не смог эмигрировать, погибли в фашистских, а те, кто бежал в Россию,— в советских лагерях. Роман «Сатана в Горае» рисует события апогея ожиданий прихода Мессии в бывшем центре еврейской духовности в период ее глубокого кризиса 1665—1666 годов. Действие удивительно поэтического и сильного романа «Раб» (1962) происходит также в XVII веке, при Богдане Хмельницком, одном из самых жестоких и

последовательных гонителей евреев. Роман «Враги. История любви» (1972) рассказывает о жизни еврейских эмигрантов в США в первые годы после Катастрофы, как в еврейской истории называют уничтожение Гитлером евреев Европы. Таково же тематическое соотношение и рассказов писателя. С той разницей, что некоторые из них переносят нас туда, где автору довелось читать лекции или путешествовать,— в Испанию, Латинскую Америку, Израиль.

При встрече с творчеством большого художника сначала хочется продолжить знакомство, потом — увидеть его лицо, поговорить с ним. Читая Зингера «насквозь», обнаруживаешь, что это хорошо знакомое ему желание посещало очень многих и породило сюжетный ход, используемый им во множестве рассказов. Обычно собеседник спрашивает писателя — есть ли у того настроение и время узнать об уникальных, как ему представляется, событиях его жизни? И всегда встречает интерес. Интерес, возникший в детстве, когда шестилетнего вундеркинда, в чьей голове уже отложились целыми главами страницы священных книг, стал все более властно притягивать «мир», начинавшийся за порогом их дома, «обстановку» которого составляли лишь полки с книгами. Дома, где он «вырос на трех мертвых языках: арамейском, иврите и идише...». Тот «мир», который, по словам отца писателя, служит лишь «коридором, где нужно изучать Тору*, чтобы, проделав путь в мир иной, пожать заслуженные плоды». В то же время он постоянно слышал о том, что и Тора, став страстью, гасит в человеке искру вечности — его душу и тот, кто читает каббалу** до тридцати лет, может сойти с ума. Но эти книги, хранившие на своих страницах следы размышлений предков-раввинов, определили угол зрения мальчика. С детства он «начал размышлять о Боге, Провидении, времени, пространстве и бесконечности». Ему было семнадцать лет, когда его рассказы о привидениях и прочих обитателях потустороннего

---

* Древнееврейское название пятикнижия (Книга книг), совокупность всех заповедей Божьих, данных народу через Моисея.

** Буквально — предание. Мистическое течение в иудаизме. Возникло в IX веке. Практическая каббалистика основана на вере в то, что при помощи ритуалов и молитв человек может вмешиваться в божественно-космический процесс.

мира стали появляться в варшавской еврейской газете и быстро завоевали популярность. При том, что именно в это время Варшава и Нью-Йорк были неведомыми нееврейскому миру литературными столицами и еврейская литература, переживавшая в двадцатые годы небывалый расцвет, не была провинциальной. Напротив, ее отличал космополитизм при сравнительно слабом влиянии модернистских течений. Талант Зингера сразу же обнаружил способность усваивать новейшие и традиционные философские представления, литературные формы, характерные для классики богословской и фольклорной еврейской литературы, и все новшества современного стиля. Воображение мальчика занимали удивительные люди, приходившие к его отцу-раввину или к матери за советом и сочувствием, а часто и в поисках достойного собеседника. Он рано задумался об исключительности их характеров, а затем пришел к мысли, что исключения эти «укоренены в правилах... и литература и есть исключение... я верил, что цель литературы — не дать времени исчезнуть».

А. Величанский заметил, что Зингер, при кажущейся открытости, никогда не «проговаривается»: читатель не знает наверняка, кто говорит с ним — автор или его герой. Представляется, однако, что ощущение это заложено именно в полной открытости писателя своему «предмету». С детства Зингер размышлял об увиденном, прочитанном, услышанном, пережитом самим и другими, взвешивая этот опыт на весах традиции, современной науки, широких философских знаний. Его воображение воссоздало яркий поток бытия, однако образ автора не тонет в нем. Его герои — это «евреи Восточной Европы, в особенности говорящие на идише, евреи, погибшие в Польше или эмигрировавшие в США. Чем дольше я живу с ними и пишу о них, тем больше меня озадачивает богатство их индивидуальностей и (поскольку я сам один из них) мои собственные причуды и страсти. Хоть я пребываю в надеждах и молюсь об искуплении и воскресении, но все же я осмелюсь сказать, что для меня все эти люди живы и сейчас. В литературе, как и в наших снах, смерти не существует». С годами в нем крепнет сознание того, что он — часть этого уникального явления, еврейской диаспоры Европы. Вместе с тем растет и его

признание как выразителя этой культурной традиции, новые поколения потомков которой, уже в значительной степени утратившие представление о ней, читают созданные им на ее основе произведения для детей, пьесы, эссе, рассказы, романы.

На русском языке пока что опубликовано несколько рассказов Зингера и роман «Шоша». Подлинный масштаб и оригинальность таланта, естественно, выявляются при более полном знакомстве с творчеством писателя. Так, например, роман «Шоша», вырванный из этого контекста, звучит по-иному. Палитра настоящего сборника на удивление продуманна. А. Величанский отказался от кричаще ярких красок, шока фантазией или мистикой, хотя у Зингера они всегда уравновешены скепсисом и иронией. Составитель пошел по пути тематических инвариантов, представив творчество писателя в наиболее характерных образах.

Первый рассказ «Сын из Америки», давший название этому сборнику,— матрица той основы, на которой воссоздан мир писателя. Местечко, в отличие от позолоченной солнцем блоковской Равенны, «как младенец», спящей «у сонной вечности в руках», представляется окутанным сумраком смешанного леса. В нем все так надежно заведено и слито с природой, что человеческий язык почти не нужен. Тут, как и учит Тора, от века существуют слова и действия на все случаи жизни. Остальной мир так же далек, как непредставимая Америка, наличие родственников в которой такой же позор, как вероотступник или самоубийца в семье. Жизнь — это самодостаточные «здесь» и «сейчас». В ней нет места желаниям, сомнениям: «ко всему можно привыкнуть» и «если Бог дает здоровье, человек живет». Ритуал Субботы* важнее приезда сына, уехавшего подростком в небытие. Ведь сын — это тот, кто прочтет над тобой каддиш**, погребальную молитву. Местечко — абсолют неслияния во

---

* У евреев считается, что Суббота установлена самим Богом. Окончив в шесть дней сотворение мира, Бог отдыхал в седьмой день от всех дел и благословил его как священный праздник. Всякая работа в Субботу запрещена.

** Славословие в честь умершего, которое произносят сыновья над прахом родителей и повторяют потом в течение 11 месяцев после каждой литургии в синагоге.

времени с чужим, нееврейским миром. Образец гомеостаза, поддерживаемого ценой разнообразия системы. С одной стороны — он идеально соотнесен с Писанием, но, если говорить об Учении, он «идеален» до полного отсутствия того дуализма, который и рождает жизнь, то есть ирреален. Коза, полноправный член семьи — едва уловимый штрих иронии или метафора? Трудно сказать, что должен почувствовать читатель - умиление или недоумение? Во всяком случае, «жители» этого местечка встречаются у Зингера часто. Таков герой рассказа «Дурак Гимпель» из одноименного сборника и многие другие.

Действующие лица другого рассказа — совсем иной тип персонажей, тех самых захваченных страстями души своей погубителей, образы которых поражают разнообразием и выразительностью. К ним принадлежит и «предательница Израиля», героиня рассказа «Модница», крестившаяся из-за пустой страсти, сгубившей ее жизнь. Акса в рассказе «Венец из перьев», пожалуй, одна из самых неизменно несчастных красивых и образованных героинь писателя — «дочери царей между почтенными у тебя»,— и несколькими строками ниже автор саркастически замечает: «...а все дочери Израиля — дочери царей». Красота суетна, а ум опасен. Чего же ждать ей, как не венца из перьев? К тому же богатство, гордыня, чрезмерная любовь бабушки с дедушкой — откуда же взяться истинной любви к Богу, единственной путеводной звезде в этой предательской жизни? А вот и жених, казалось бы, именно такой, какого следует выбрать девушке из уважаемой семьи,— бедный и неказистый, но преуспевший в Учении. И лишь бабушке «оттуда», правда, похоже, что не с Небес, видно, что его юная душа одержима дьявольской гордыней, которую способна унять только смерть — к сожалению, сначала его заблудшей невесты, а уж потом и его самого. Судьба этой пары вызывает ужас у окружающих, и лишь раввин верен своему долгу, призывая к милосердию. «Евреи, явите милосердие!» — заповедью звучат эти слова во многих рассказах Зингера, далекого от стремления идеализировать не только паству, но и пастырей.

Раввин, главный персонаж рассказа «Плагиатор», сам институт Суда Торы, которому посвящена одна из лучших книг писателя, носящая это название,— постоянная тема его

размышлений. И хотя, окончив семинарию, он стал литератором, но по крови и в известном смысле по роду занятий он — их продолжение.

Раввины были в роду у обоих родителей, причем не только оба деда, но линии эти прослеживаются и дальше. В семье гордились предками, пользовавшимися уважением в ученом мире богословия и комментариев к Писанию. Именно этой струны еврейской души и касается рассказ «Плагиатор». В семье Зингера были представлены оба религиозных направления — более ортодоксальное с материнской стороны и «тронутое» каббалой с отцовской. Оба они оказали глубокое воздействие на формирование будущего писателя. Черты характеров родителей и других' членов семьи, события из их жизни легко прослеживаются в его творчестве. Интересная смесь традиционных и современных взглядов уживалась в матери. Девушек из таких семей (вспомним о дочерях царей) учили дома Писанию, причем часто это была не только Тора, но и каббала. И соответственно арамейскому и ивриту. Главным было уважение к учености. При выборе мужа решало оно, а не богатство или внешность. Так поступила мать писателя. В семье традиционно покупались все богословские и новые книги, которые привозили книготорговцы. Мать читала популярные научные журналы и весьма частым проявлениям иррациональных сил, о которых приходили советоваться люди к мужу и к ней, всегда стремилась найти прежде всего рациональное объяснение и лишь при отсутствии такового обращалась к Писанию. При этом авторитет мужа был для нее непререкаем. И по традиции она умела взять на себя все тяготы жизни, чтобы по возможности освободить его от мирских забот для занятий основным предназначением мужчины — быть евреем и раввином, соблюдать Закон и соотносить жизнь с Писанием.

Отец тяготел к более «романтическим» и проникнутым мистикой хасидизму* и каббалистике. В согласии с Торой в суде он предпочитал компромисс, стремясь к тому, чтобы обе стороны разошлись удовлетворенными. Однако в жизни был

---

* Мистическое течение в иудаизме, возникшее в XVIII веке как выражение религиозного протеста беднейших слоев верующих евреев против засилья в общинах раввинов и богачей.

строг к себе и близким. Подобно многим раввинам писателя, отец был погружен во взаимоотношения со Всевышним и комментарии священных книг. Жена и младший сын, автор этих рассказов, были в курсе вершимого в их доме Суда Торы, слово отца было решающим во всех важных вопросах жизни семьи. Его интересовали люди, особенно те, с кем можно было говорить о Писании или чья судьба наглядно заставляла убедиться в неисповедимости путей Господних. К старости он даже стал читать газеты. Но грань между миром души и «миром» оставалась четкой. Несомненно — при всем интересе к жизни,— именно от отца у Зингера отстраненность видения, ощущение сравнительной незначительности земного бытия. И многим раввинам в его произведениях присуще стремление не опускаться до суеты жизни. Именно эту борьбу ведет с самим собой герой рассказа «Плагиатор». И Провидение являет ему доказательство необратимости действия мысли. В наказание за минутную слабость его ждут пожизненные душевные муки и, кто знает, может быть, кара в жизни иной.

Однако при том, что их часто томит земное бытие, даже те, кому Писание служит надежной опорой, рано или поздно переживают страшные минуты сомнения в милосердии Творца, цели Творения, наличии какого- либо разумного начала в этом мире — книжники затмеваются умом,— и жизнь рушится. Ведь, как известно, дьявол имеет власть лишь над теми, кто сомневается во власти Господа. Служители культа у Зингера очень разные, но неизменно человечные в своей индивидуальности, накладывающей неповторимый отпечаток на жизнь общины и даже на толкование Торы. Но при любых издержках писатель верит, что «лишь индивидуальное может быть истинным и справедливым». И в этом убеждении — корень его отношения к институту раввината как социально-историческому и этическому явлению, которое в его сознании противостоит любым институтам, основанным на применении власти, независимо от их политической ориентации. Он видит в нем смесь суда, молельного дома, дома учения и приемной психоаналитика — «смущенный дух должен где-то снять свой груз». Институт этот «мог существовать только в народе глубоко верующем и

униженном. И он достиг у евреев расцвета в тот период их истории, когда они были совершенно лишены власти и влияния в мире. Орудием суда был носовой платок, которого касались заинтересованные стороны в знак согласия с его Решением... Я не хочу идеализировать,— пишет Зингер,— но я убежден, что он будет возрожден как Универсальный институт... Временами мне кажется, что Суд Торы — земное подобие Небесного суда, Божьего правосудия, которое евреи считают абсолютным милосердием». Писатель знает лишь любовь и сострадание способны помочь человеку вынести ужас земного бытия, не утратив в страстях своего божественного подобия. Но и в отношении любимых героев ирония никогда не изменяет Зингеру, способность взглянуть на себя со стороны, самоирония одна из черт характера еврейского народа, его сохранившая. В одном из рассказов о раввинах — «Мальчик знает правду» — автор изображает момент прозрения героя, забросившего дело жизни и совершенно потерянного. Неожиданно для себя самого он спрашивает на улице мальчишку, из тех, кого еще так недавно сек в ешиве* «Что делать еврею, который потерял грядущий мир?» «Оставаться евреем»,— не задумываясь отвечает мальчишка. «Даже если он потерял грядущий мир?» — переспрашивает пораженный простотой ответа раввин. И его осеняет: «Мальчик знает правду». Он возвращается к Торе и своим обязанностям. Два десятилетия спустя в поисках душевной опоры другой герой Зингера приходит к тому же заключению: «...стоит еврею отступить от буквы Закона, и он окажется на дне — фашизма, большевизма, убийства, прелюбодеяния, пьянства... Путь спасения — один... И он сидел над Гемарой, уставившись на буквы. Эти записи были домом. На этих страницах обитали все его предки. Эти слова никогда не удастся перевести на другой язык...»

Приведенные размышления глубоко автобиографичны. Переводчик на польский классиков мировой литературы, принимавший участие в переводе собственных произведений на английский, Зингер навсегда сохранил верность идишу, который был для него «образом жизни... языком изгнания, в

* Высшая талмудическая школа.

котором нет слов для обозначения оружия, военной тактики... в менталитете которого заложена благодарность за каждый день жизни, крупицу успеха, проявление любви... смутное сознание того, что Творение еще только начинается...».

«Плагиатор» — не самый драматичный из посвященных проблемам взаимоотношений пастырей Израиля с их собственной душой — и через нее со Всевышним — рассказов, но принципиальный по мысли и яркий.

Рассказ «Голуби» как бы развивает мировоззренческую тему в творчестве Зингера и вводит нас в еще одну очень значительную область размышлений писателя — старость. Его герой — профессор истории, светский талмудист, сошедший со стези традиционной науки — изучения Писания, однако большую часть жизни посвятивший довольно близкому кругу вопросов: где Творца заменила История, индивидуальным этическим проблемам — сомнениям в отношении достоинств Человека как ее вершителя. Ужасное и невероятное в своей простоте открытие, состоящее в том, что историю творят Злодеи, поставило профессора перед вопросом вопросов — о Телеологии, целенаправленности исторического процесса, от которого лишь шаг назад, к идеализму. Не будучи в состоянии разрешить его, профессор пошел вперед — в естествознание. Но и там не нашел Ответа. Жизнь прошла, осталась непреложность убывающего физического существования. И его настигла История. Черно-красные в лучах заходящего солнца крылья голубей, провожающих катафалк профессора,— редкое для Зингера символическое описание. С этими учеными стариками ушла целая эпоха европейской культуры. За океаном Зингер «поселил» других, более земных стариков. Их Творец куда «демократичней», и вечные вопросы не оборачиваются для них жизненной драмой. Но, при всем их обаянии, в них нет того неповторимого детского очарования, которое присуще его философам- европейцам.

Для Зингера характерна бережная, грустная ирония по отношению к своим героям, ум которых порой «не знает возраста тела», но и, сознавая его хрупкость и «неэстетичность», способен дарить им минуты единения с Вечностью и продолжает как бы по инерции регистрировать

факты их земного бытия. За этими наблюдениями, несомненно, стоят собственные размышления автора о старости, о ее поразительной порой жизненной цепкости — яркости воображения и богатстве эмоционального мира на краю тьмы. Обостренность внимания к старости, болезни и смерти из-за крепнущего с годами сознания, что за пределами жизни есть истина, куда верней и важней всего, что может дать тело.

Особое место в творчестве Зингера занимают стареющие женщины. Они как бы дополняют инфантильную Шошу, над которой не властно время. Она и остается жить лишь в воспоминаниях героя романа. Они же неизменно одинокие, независимо от того, присутствует ли в их жизни инфантильный муж или сын, и, трогательные в беззащитности своей неиссякаемой женственности и увядшей красоты, живут грезами любви, привычкой к интеллектуальной работе или даром отдаваться жизни во всех ее проявлениях. Именно к этому типу героинь писателя принадлежит Матильда Блок из рассказа «Танец».

Интерес Зингера к загадке любви, пола, условности возраста неизменен, глубок и оригинален, как все его творчество. Достаточно сравнить, может быть, самое слабое его произведение «Шоша» со значительно уступающей ему «Лолитой» Набокова. Об этом свидетельствуют и рассказы сборника «Сын из Америки». Например, «Танец» и два следующих за ним — «Тоскующая телка» и «Ее сын». Прекрасные рассказы на эту тему собраны в сборнике «Старая любовь». Тема дуализма духа и плоти в творчестве Зингера неисчерпаема, как неисчерпаема она и в самой жизни. Лучше всего предоставить слово самому писателю, приведя диалог двух стариков из рассказа «Сеанс». Мучимый простатой герой, готовый «к последней деградации тела», злится, что опять позволил своей знакомой втянуть себя в ее спиритические эксперименты. И пока она помогает ему сменить мокрые брюки на сухие — ее умершего мужа, он с раздражением подводит итог своим собственным духовным исканиям: «Философия — какая? Эротизм — чей?.. Он играл фразами годами и не пришел ни к каким выводам. Все, что произошло с ним, в нем, в Польше и России, на других планетах и в далеких Галактиках, нельзя было свести ни к

слепой воле Шопенгауэра или к его, Калишера, эротизму. Нельзя это объяснить ни субстанцией Спинозы, монадами Лейбница, гегелевской диалектикой или монизмом Геккеля. Все это — жонглирование словами. Как хорошо, что он не опубликовал свою писанину. Что толку от этой белиберды? Это ни от чего не помогает. Какая может существовать связь между сексом, памятью и спасением собственного «я»? Как все это укладывается в бесконечное время?..» Но подруга не хочет слушать его брюзжание — она убеждена, что «мы живем вечно и любим вечно».

В сборник включены два рассказа — «Эгоист» и «Собственность», которые затрагивают еще одну очень важную для понимания творчества Зингера тему — его отношение к homo politico. Из всех недугов человеческой души политические страсти представляются писателю самыми противоестественными, уродливыми, разновидностью идолопоклонства, порождающей сталинов и гитлеров. «Homo politico никогда не интересуется истинной верой и честными намерениями. Единственная его цель — принадлежать к побеждающей клике и поддерживать ее. Это совершенно очевидно и так соответствует извечным законам человеческого поведения». Однозначно отношение писателя и к революции как средству исторического прогресса: «Вы не можете помочь человечеству... Тот, кто слишком озабочен судьбой Человека, рано или поздно приходит к жестокости... Перманентная революция столь же возможна, как перманентное хирургическое вмешательство... Выражения вроде «лучший мир» и «светлое завтра» представляются мне святотатством над пеплом замученных».

Герои двух названных рассказов — пена русской истории на американском берегу. «Живые трупы» из рассказа «Эгоист» бесславно заканчивают жизнь на чужой земле. А их молодые коллеги из второго рассказа развлекаются свободной любовью, расшатывая устои буржуазной семьи в стране собственников.

Неверие в навязанный социальный прогресс проистекает из отношения к Человеку — венцу Творения, самому Творцу и избранному им народу. Размышления на эти темы лежат в основе творчества Зингера. В рамках предисловия не представляется возможным рассмотреть их с исчерпывающей

полнотой. Однако пройти мимо них невозможно. В этой книге удобнее сделать это, оттолкнувшись от рассказа «Новогодняя вечеринка».

Наблюдая за душой литературной компании, меценатом еврейских писателей и художников Борисом Лемкиным, автор вспоминает, что его самого левые ругают за несодействие революции, а сионисты — за нежелание славить еврейское государство и героизм его пионеров. Политика интересует Зингера как характерное проявление состояния Человека на конкретный исторический момент, лишь в отраженном свете отношении Человека с Создателем. Отношения эти непоправимо испортились еще во времена Потопа: обманув надежды Творца, Человек сделал Зло своим главным искусством и балансирует между испорченностью и безумием, извечно стремясь к власти. А «кто носит нож — т его в дело, у кого в руках перо — напишет законы, оправдывающие воров и убийц... По моему мнению, род человеческий становится хуже, а не лучше, эволюция идет в обратную сторону. Последний человек на Земле будет одновременно и преступником и безумцем». Евреи же, в отличие от мудрых греков, склонны принимать желаемое за действительное: они убеждены, что Всемогущий любит их больше всего во Вселенной в то время, как он — антисемит. Жестокий и мстительный, Создатель ждет лишь конца срока Договора, чтобы стереть имя Человека в Книге жизни. Обвиняя других в идолопоклонстве, сами они поклоняются идолу справедливости, и на них лежит страшная вина за распространение коммунизма. «Я убежден в одном — здесь на Земле правда и справедливость навсегда и абсолютно вне нашей досягаемости... читайте великие книги... ставьте набойки».

Все эти рассуждения принадлежат другим героям Зингера, которые находятся в иных, подобающих столь широким обобщениям обстоятельствах. На новогоднюю вечеринку собрались относительно благополучные люди, которым не свойственно размышлять о природе Человека. Но автор встречает здесь — хотя, по сути, шофер и повар Гарри не принадлежит к ним — одного из тех, кто «ставит набойки», не претендуя на социальную роль, но в своей необыкновенной привязанности к другому человеку достиг

подлинной духовной высоты. Автор восхищен этим человеком и благодарен судьбе за встречу с ним.

Эту открытость Зингера жизни не способны ограничить даже его собственный скепсис и неоспоримое знание того, что «на всех путях жизни плевел больше, чем зерен», а человек всегда одержим страстями и даже в отношениях с Богом греховен. Но в то же самое время непредсказуем, велик в своем изначальном стремлении к познанию и возвышенной любви, доходящей в лучшие минуты его жизни до amore intellectuale к Богу, по выражению любимого философа писателя — Спинозы. К Создателю, который говорит делами, не словами и чей словарь — Вселенная. Только это высокое стремление позволяет ему в эти редкие минуты прикоснуться к Тайне. И для Зингера, неизменно готового смотреть, слушать и думать, как бы ни были неожиданны повороты судеб и игра обстоятельств, самым увлекательным остается жизнь Души — этой частицы Вечности в обреченном теле.

Однако при всей значительности этих «промежуточных» мгновений, искр озарения, понимания чего-то, что стоит за пределами земного бытия и навсегда остается для живых загадкой, они размываются столь же вечным Сомнением в достоверности чувственного опыта. Один герой Зингера заявляет: «...столько невероятных вещей произошло за мою жизнь, что пора стереть слово «невозможный» в моем словаре». Другой с той же убежденностью говорит: «По моей теории — ничего нельзя объяснить».

Каббала, рассказы окружающих, ранний литературный успех, которым юный автор в немалой степени был обязан своим интересом к потусторонним силам, обострили его внимание к этой мистической области земного опыта, а дар воображения и писательский талант позволили ему густо населить страницы своих книг демонами разных рангов, душами, застрявшими между мирами, и даже мертвецами. Эта грань его таланта представлена в сборнике рассказом «Ханка», прекрасно иллюстрирующим неразрывную связь между знанием и сомнением.

Последний рассказ — «Сын» — возвращает читателя к началу сборника. Даже краткое знакомство с творчеством Зингера позволяет представить идейный и временной

диапазон размышлений писателя — от начала века в Европе, определившего все духовные и интеллектуальные искания этого столетия, до наших дней. Изменился мир, изменились и герои Зингера. В этом рассказе сын приезжает к отцу из Израиля, а отец встречает его в уже обжитой Америке. Той самой, которая персонажам первого рассказа представлялась местом, где люди ходят вниз головой. Этих отца и сына роднит не кровь, а возможность взаимопонимания, надежда на духовную близость. Мысли отца в ожидании встречи с незнакомым сыном, их первый разговор позволяют почувствовать эволюцию взглядов тех поколений, которые разделяют героев первого и последнего рассказов сборника.

Подводя итог этому по необходимости конспективному обзору творчества И. Б. Зингера, представляется лучшим привести его собственные слова о литературе, которой дана «магическая власть над смесью случайностей и цели, сомнения и веры, страстей плоти и устремлений души... [литература] уникальна и всеобща, национальна и универсальна, реалистична и мистична...

Для читателей, желающих услышать обо мне нечто более личное: моя отъединённость от всего остается неизменной. Я покорился меланхолии, и она взяла меня в плен. Я предъявил ультиматум Творению: скажи мне свой секрет или дай мне погибнуть. Мне нужно было бежать от самого себя. Но как? И куда? Я мечтал о гуманизме и этике, в основе которой лежал бы отказ от оправдания тех напастей, что наслал на нас Господь и которые он нам еще уготовляет. В лучшем случае искусство могло бы быть средством, помогающим на время забыть об ужасе человеческого бытия...

И я все еще продолжаю работать над тем, чтобы сделать этот отрезок времени достойным времяпрепровождением».

Наверное, автор около тридцати книг не сомневался, что преуспел в этой работе, которую он не оставлял до конца своих дней. В 80-е годы писатель отдал в перевод восемь новых книг, в том числе роман «Царь полей», действие которого происходит в древности, и свою последнюю книгу «Пена», мрачную притчу о человеческой морали. Скоро посмертно выйдет еще одно произведение Зингера — «Вознаграждение». Широкая известность пришла к нему уже в зрелые годы, особенно посте того, как С. Беллоу перевел

его рассказ «Дурак Гимпель». Зингер удостоен практически всех мировых литературных премий. В 1983 году Б. Стрейзанд экранизировала его рассказ «Йентель, мальчик из ешивы», а в 1989-м П. Мазурский снял фильм по его роману «Враги. История любви». Это позднее признание было настоящим, и читатели нередко благодарили его за то, что его книги помогли им выжить.

«Тот, кто пережил экстаз смерти,— утверждает в разговоре со своим любимым писателем одна из его героинь, пытавшаяся покончить с собой из-за несчастной любви и теперь прикованная к инвалидной коляске,— может лишь смеяться над остальными так называемыми удовольствиями». То, чего человек боится от колыбели до могилы, есть высшая радость. И все же редко кто- либо спешит ее пережить. «Ожидание есть часть радости»,— продолжает ее мысль автор. Еще в юности ему показалось, что «на лицах мертвых — одно выражение: „Ага, вот оно как на самом деле! Если бы мы только знали...”» Вечная загадка «послездесь» занимала его всегда. Но «все они безмолвствовали — Бог, звезды, мертвые.

И.Б. Зингер прожил долгую жизнь. Писатель родился в июле 1904 года, а умер в июле 1991-го. Его книги еще долго будут помогать людям осознавать пребывание Здесь «достойным времяпрепровождением». Сам он не спешил узнать Ответ. И если и знает сейчас, то не может подсказать, его своим читателям.

Т. Ротенберг

Сын из Америки

Местечко Ленчин было крохотным — вытоптанная до песка базарная площадь, где окрестные крестьяне собирались раз в неделю. Площадь была окружена лачужками, крытыми соломой или замшелой дранкой. Трубы на крышах походили на горшки. Между лачугами были клочки земли, на которых владельцы сажали овощи или пасли коз.

В самой маленькой из этих лачуг жил Бёрл, старик лет восьмидесяти, с женой, которую звали Бёрлиха. Старый Бёрл был из тех евреев, что после изгнания из России поселились в Польше. В Ленчине смеялись над ошибками, которые он делал, молясь вслух. Букву «р» он выговаривал твердо. Низкорослый, широкоплечий, с небольшой белой бородкой, зимой и летом он носил барашковую шапку, холщовую кацавейку на вате и крепкие сапоги. Ходил он медленно, шаркая ногами. У него было немного земли, корова, коза и куры.

У стариков был сын Самуил — он уехал в Америку сорок лет назад. В Ленчине говорили, что там он стал миллионером. Каждый месяц ленчинский почтальон приносил старому Бёрлу денежный перевод и письмо, которое никто не мог прочесть, потому что в нем было много английских слов. Сколько денег присылал Самуил своим родителям, оставалось тайной. Трижды в год Бёрл с женой отправлялись пешком в Закрочим и там получали деньги по переводам. Но кажется, они вовсе не тратили этих денег. Зачем? Сад, корова и коза давали им почти все, что нужно. Кроме того, Бёрлиха продавала кур и яйца — вырученных денег хватало на то, чтобы купить муку для хлеба.

Никого не интересовало, где Бёрл держит деньги, присылаемые сыном. В Ленчине не было воров. Их лачуга состояла из одной комнаты, в которой заключалось все их добро: стол, полка для мяса, полка для молока, две кровати и

обмазанная глиной печь. Порой куры ночевали в дровяном сарае, а когда холодало — в клети рядом с печью. Коза тоже укрывалась от непогоды в лачуге. У обитателей местечка, из тех, кто побогаче, были керосиновые лампы, но Бёрл и его жена не верили в новомодные изобретения. Чем плох фитиль в плошке с маслом? Только для Субботы Бёрлиха покупала три сальные свечи в лавке. Летом старики вставали с восходом солнца и отходили ко сну вместе с курами. Долгими зимними вечерами Бёрлиха сучила лен, а Бёрл сидел рядом с ней и молчал так, как молчат довольные покоем люди.

Порой Бёрл, вернувшись домой из синагоги после вечерней молитвы, приносил жене новости. В Варшаве забастовщики требовали, чтобы царь отрекся от престола. Один еретик по имени доктор Герцль додумался до того, что евреи должны снова поселиться в Палестине. Бёрлиха слушала и качала головой в чепце. Лицо у нее было желтоватым и сморщенным, как капустный лист. Под глазами были синеватые мешки. Она почти ничего не слышала. Бёрлу приходилось повторять каждое слово, когда он рассказывал ей новости. И она говорила: «Чего только не случается в этих больших городах!»

Здесь, в Ленчине, ничего не случалось, кроме обычных событий: отелится корова, молодая чета отпразднует обрезание сына или родится девочка, и праздновать нечего. Время от времени кто-нибудь умирал. В Ленчине не было кладбища, и покойника нужно было везти в Закрочим. Теперь Ленчин стал таким местечком, где почти не осталось молодежи. Молодые люди отправлялись в Закрочим, в Новый Двор, в Варшаву, а иной раз и в Америку. Так же как письма Самуила, их письма было трудно читать — идиш в них мешался с языками тех стран, где жили теперь писавшие. Они присылали фотографии, на которых мужчины были в цилиндрах, а женщины — в затейливых, как у помещиц, платьях.

Бёрл и Бёрлиха тоже получали такие фотографии. Но глаза их ослабли, а очков ни у того, ни у другого не было. Они едва различали изображение. У Самуила были сыновья и дочери, которых звали не по-еврейски, а также внуки, уже женатые и имевшие свое потомство. У них были такие странные имена, что Бёрл и Бёрлиха никак не могли их

запомнить. Но разве дело в именах? Америка далеко, очень далеко, за океаном, на краю света. Учитель Талмуда*, приходивший в Ленчин, сказал, что американцы ходят вниз головой и вверх ногами Бёрл и Бёрлиха не могли уразуметь этого. Как может быть такое? Но раз учитель сказал, должно быть, так оно и есть. Бёрлиха, чуть поразмыслив, говорила: «Ко всему можно привыкнуть».

Пусть будет так. Ибо если много думать, упаси Господи, можно и ума лишиться.

Однажды утром в пятницу, когда Бёрлиха замешивала тесто для субботних хал, дверь отворилась и вошел какой-то важный господин. Он был слишком высок, и ему пришлось нагнуться, чтобы пройти в дверь. На нем были бобровая шапка и пальто, отороченные мехом. Следом шел Хацкель, извозчик из Закрочима, и нес два кожаных чемодана с медными застежками. Бёрлиха удивленно подняла глаза.

Важный господин огляделся и сказал кучеру на идише: «Сюда». Он достал серебряный рубль и заплатил извозчику. Извозчик пытался дать ему сдачу, но важный господин сказал: «Можешь идти».

Когда извозчик закрыл за собой дверь, важный господин сказал: «Мама, это я, твой сын Самуил — Сэм».

Бёрлиха расслышала эти слова, и у нее подкосились ноги. Ее руки, к которым пристало тесто, ослабли. Важный господин крепко обнял ее, поцеловал в лоб и в обе щеки. Бёрлиха стала квохтать как курица: «Сын мой!» В этот момент вошел Бёрл, ходивший в сарай, с охапкой поленьев в руках. Следом за ним вошла коза. Увидев, что какой-то важный господин целует его жену, Бёрл уронил дрова и закричал: «В чем дело?»

Важный господин отпустил Бёрлиху и обнял Бёрла. «Отец!»

Бёрл долго не мог издать ни звука. Он хотел произнести святые слова, которые читал в Библии на идише, но не мог

---

* Талмуд — от слова «учить» — означает учение или знание как результат постижения Торы. Кроме норм этической и религиозной жизни, содержит еврейскую юриспруденцию, а также много других научных дисциплин; по форме в виде отдельных дискуссий.

ничего припомнить. Потом он спросил:

— Ты Самуил?

— Да, отец, я Самуил.

— Что ж, мир тебе.

Бёрл сжал руку сына. Но он все еще сомневался, не

рачат ли его. Самуил не был таким высоким и дородным, как этот мужчина, но тут Бёрл вспомнил, что Самуилу было пятнадцать лет, когда тот оставил дом. Он, должно быть, подрос в той далекой стране. Бёрл спросил:

_ Отчего ж ты не сообщил нам, что приезжаешь?

_ Разве вы не получили моей телеграммы? —

спросил Самуил.

Бёрл не знал, что такое телеграмма.

Бёрлиха содрала с рук тесто и обхватила сына. Он снова поцеловал ее и спросил:

— Мама, разве вы не получили телеграмму?

— Что? Раз уж я дожила до этого дня, я умру счастливой,— сказала Бёрлиха, сама поразившись своим словам.

Бёрл тоже поразился. Это были как раз те слова, которые ему самому следовало произнести, вспомни он их вовремя. Немного погодя Бёрл пришел в себя и сказал:

— Песя, ты должна приготовить двойной субботний кугель в придачу к тушеному мясу.

Много лет прошло с тех пор, как Бёрл последний раз назвал Бёрлиху по имени. Когда он хотел обратиться к ней, он говорил: «Слушай» или «Скажи-ка». Это молодые да те, кто живет в больших городах, называют своих жен по имени. Только теперь Бёрлиха расплакалась. Желтые слезы текли из ее глаз, и все кругом помутилось. Потом она воскликнула:

— Сегодня же пятница — мне нужно готовиться к Субботе.

И впрямь ей нужно было месить тесто и плести халы. Раз в доме такой гость, ей придется натушить побольше мяса. Зимний день недолог, и ей нужно спешить.

Сын понял ее тревогу, потому что сказал:

— Мама, я помогу тебе.

Бёрлиха хотела рассмеяться, но из горла ее вырвался лишь сдавленный всхлип.

— О чем ты говоришь? Боже сохрани.

Важный господин снял пальто, сюртук и остался в

жилете, через который шла увесистая золотая цепочка от часов. Он засучил рукава и подошел к квашне.

— Мама, я много лет работал пекарем в Нью-Йорке,— сказал он и стал месить тесто.

— Что делается! Это и есть дорогой мой сын, который скажет надо мною каддиш,— приговаривала она хрипло, сквозь слёзы. Силы оставили её, и она опустилась на кровать.

Бёрл сказал: «Женщины есть женщины» — и пошел в сарай принести еще дров. Коза села рядом с печкой; она с удивлением рассматривала незнакомого человека — такого высокого и в такой чудно́й одежде.

До соседей дошла добрая весть о том, что сын Бёрла приехал из Америки, и они пришли поздороваться с ним. Женщины стали помогать Бёрлихе готовиться к Субботе. Одни смеялись, другие плакали. В комнате было полно людей, как на свадьбе. Они спрашивали у сына Бёрла:

— Что нового в Америке?

И сын Бёрла отвечал:

— Америка в порядке.

— И что евреям — хватает на жизнь?

— Там едят белый хлеб даже в будни.

— И остаются евреями?

— Я не гой*.

После того как Бёрлиха благословила свечи, отец с сыном отправились в небольшую синагогу через улицу. Выпал первый снег. Сын пошел широким шагом, но Бёрл удержал его: «Не спеши».

В синагоге евреи декламировали «Возрадуемся» и «Л’ха додú»**. Все это время снаружи продолжал идти снег. После молитв, когда отец с сыном вышли из синагоги, местечко стало неузнаваемым. Все покрылось снегом. Можно было различить лишь очертания крыш и свечи в окнах. Самуил сказал:

— Ничего-то здесь не изменилось.

Бёрлиха приготовила фаршированную рыбу, куриный суп

---

* Иноверец.

** Гимн при вечернем богослужении накануне Субботы (буквально — «Иди, мой друг»).

с рисом, тушеное мясо с морковью. Бёрл произнес благословение над рюмкой ритуального вина. Семья принялась за еду и питье, и в наступившей тишине стало слышно стрекотание домашнего сверчка. Сын много говорил, но Бёрл и Бёрлиха мало что понимали. Его идиш был иным, в нем были иностранные слова.

После последнего благословения Самуил спросил:

— Отец, куда ж вы дели все те деньги, что я вам посылал?

Бёрл приподнял белые брови.

— Они здесь.

— Вы не положили их в банк?

— У нас нет банка в Ленчине.

— Где ж вы их держите?

Бёрл заколебался.

— Нельзя касаться денег в Субботу, но я покажу тебе.

Присев возле кровати, он стал тащить что-то тяжелое. Появился сапог. Сверху он был набит соломой. Бёрл вынул солому, и сын увидел, что сапог полон золотых монет. Сын поднял сапог.

— Отец, да это же сокровище!— воскликнул он.

— Ну.

— Почему ж вы их не тратили?

— На что? Слава Богу, у нас все есть.

— Отчего вы не съездили куда-нибудь?

— Куда нам ездить? Наш дом здесь.

Сын все спрашивал, но Бёрл в ответ на все вопросы твердил свое: они ни в чем не нуждаются. Сад, корова, коза и куры дают им все, что нужно. Сын сказал:

— Знай воры про этот сапог, вам бы несдобровать.

— Здесь и в помине нет воров.

— Что же будет с деньгами?

— Возьми их себе.

Мало-помалу Бёрл и Бёрлиха стали привыкать к своему сыну и его американскому идишу. Теперь Бёрлиха слышала его лучше. Она даже вспомнила его голос. Сын говорил:

— Может быть, нам построить синагогу побольше?

— В синагоге хватает места,— отвечал Бёрл.

— Может быть, богадельню?

— У нас никто не спит на улице.

На следующий день, когда субботний обед был съеден,

какой-то гой из Закрочима принес бумагу — это и была та самая телеграмма. Бёрл и Бёрлиха прилегли соснуть. Вскоре они стали похрапывать. Коза тоже задремала. Сын надел пальто и шляпу и вышел прогуляться. Он шагал большими шагами через рыночную площадь. Протянув руку, он дотронулся до одной из крыш. Он хотел закурить сигару, но вспомнил, что курить в Субботу запрещено. Ему хотелось с кем-нибудь поговорить, но казалось, весь Ленчин погрузился в сон. Он вошел в синагогу. Там сидел какой-то старик и читал вслух псалмы. Самуил спросил:

— Молишься?

— А что еще делать на старости лет?

— Тебе хватает на жизнь?

Старик не понял смысла этих слов. Он улыбнулся, показав голые десны, а потом сказал:

— Если Бог дает здоровья, человек живет.

Самуил вернулся домой. Стемнело. Бёрл пошел в синагогу на вечернюю молитву, и сын остался с матерью. Комната наполнилась тенями.

Бёрлиха стала произносить торжественно и монотонно: «Бог Авраама, Исаака и Иакова, защити бедный народ Израилев во имя Свое. Святая Суббота отходит; желанные будни идут к нам. Пусть принесут они здравие, достаток и добродетель».

— Мама, зачем ты молишься о достатке? — спросил Самуил.— Вы и так богаты.

Бёрлиха не расслышала или притворилась, что не расслышала. Ее лицо превратилось в сгусток теней.

В этом сумраке Самуил сунул руку в карман сюртука и потрогал паспорт, чековую книжку, аккредитивы. Он ехал сюда с большими планами. Он привез родителям полный чемодан подарков. Он хотел облагодетельствовать все местечко. Он привез не только свои деньги, но и фонды Ленчинского землячества в Нью-Йорке, которое устроило бал в пользу местечка. Но местечко в этой глуши ни в чем не нуждалось. Из синагоги слышалось сиплое пение. Сверчок, промолчавший весь день, снова застрекотал. Бёрлиха стала раскачиваться и произносить святые стихи, которые она унаследовала от матерей и бабушек:

Своих овец
Блюди, Творец,
В Торе и в добре;
И дай всего вполне —
Одежду, обувь, снедь,
Приход Мессии впредь.

Венец из перьев

Реб Нафтоле Холишицер, глава общины в Красноброде, остался под старость бездетным. Одна из дочерей его умерла во время родов, а другая — в эпидемию холеры. Сын утонул, когда переправлялся верхом через реку Сан. У реба Нафтоле осталась лишь одна внучка Акса, сирота. Обычай не позволял девочкам учиться в ешиве, ибо «дочери царей между почтенными у тебя», а все дочери Израиля — дочери царей. Акса училась дома. Она поражала всех красотой, благоразумием и усердием. У нее была белая кожа, черные волосы и синие глаза.

Реб Нафтоле управлял имением, принадлежавшим князю Чарторыскому. Князь задолжал ребу Нафтоле двадцать тысяч гульденов, навсегда заложив ему свое имущество, и реб Нафтоле построил для себя водяную мельницу, пивоваренный завод и засеял десятки гектаров земли хмелем. Его жена Нэша была родом из богатого семейства, проживавшего в Праге*. Они могли позволить себе нанимать самых превосходных учителей для Аксы. Один учил ее Писанию, другой — французскому языку, еще один — игре на фортепьяно, а четвертый — танцам. Все ей давалось легко. В восемь лет она играла в шахматы с дедом. Ребу Нафтоле не нужно было давать за ней приданое, поскольку она была наследницей всего состояния.

Партию для Аксы стали подыскивать заранее, но бабушке было трудно угодить. Взглянув на очередного малого, предлагаемого брачными маклерами, она говорила: «У него дурацкие плечи» или: «Он узколоб, как невежа».

И вот Нэша внезапно умерла. Ребу Нафтоле было около восьмидесяти, и он не помышлял о новом браке. Полдня он посвящал религии и полдня — хозяйству. Он вставал с

---

* Предместье Варшавы.

рассветом и сосредоточенно размышлял над Талмудом и Комментариями, а также писал письма старейшинам общины. Если кто-нибудь заболевал, реб Нафтоле шел утешить его. Дважды в неделю он посещал богадельню вместе с Аксой, которая сама несла пожертвования — суп и кашу. Не раз Акса, избалованная и образованная, засучив рукава, перестилала постели в богадельне. Летом, после дневного сна, реб Нафтоле приказывал запрячь бричку и ездил по полям вокруг местечка вместе с Аксой. Пока они ехали, он обсуждал с ней свои дела, и было известно, что он слушает ее советы так же, как он слушал советы ее бабушки.

Одного недоставало Аксе — друга. Ее бабушка пыталась найти ей подруг, она снисходила даже до того, что приглашала девиц из Красноброда. Но Акса не терпела их болтовни о нарядах и домашнем хозяйстве. Поскольку все ее учителя были мужчинами, Аксу допускали к ним только во время занятий. И теперь дед стал ее единственным товарищем. Реб Нафтоле встречал в свое время много известных аристократов. Он бывал на ярмарках в Варшаве, Кракове, Данциге и Кёнигсберге. Он часами просиживал с Аксой, рассказывая о раввинах и праведниках, о последователях лжемессии Саббатая Цви*, о раздорах в сейме, о причудах Замойских, Радзивиллов и Чарторыских — об их женах, возлюбленных и приближенных. Иногда Акса восклицала: «Вот если бы ты был моим женихом, а не дедом!» — и целовала его глаза и белую бороду.

Реб Нафтоле отвечал: «Я не единственный мужчина в Польше. Довольно мужчин не хуже меня и вдобавок моложе».

«Где же, дедушка? Где они?»

После смерти бабки Акса отказывалась полагаться на чье-либо суждение в выборе мужа — даже на мнение своего деда. Так же как бабка, она видела в женихах только плохое, а реб Нафтоле — только хорошее. Акса настаивала на том, чтобы брачный маклер позволял ей встречаться с претендентом, и реб Нафтоле наконец согласился на это. Молодую пару сводили в какой-нибудь комнате, двери которой оставались открытыми, и старая глухая служанка должна была стоять на пороге и присматривать за тем,

* Каббалист, в 1665 году объявил себя мессией и царем иудейским.

чтобы встреча была короткой и пристойной. Обычно Акса оставалась с молодым человеком всего несколько минут. Почти все женихи оказывались унылыми и глупыми. Некоторые пытались умничать и шутить недостойным образом. Акса наотрез отказывала им. Как это ни странно, но бабушка по-прежнему подавала свой голос. Однажды Акса услышала, как та отчетливо произнесла: «У него свиное рыло». В другой раз бабушка сказала: «Он говорит как по письмовнику».

Акса понимала, что это говорит не бабушка. Мертвые не возвращаются с того света, чтобы высказать мнение по поводу сватающихся женихов. И все же это был голос бабушки, ее манера выражаться. Аксе хотелось поговорить об этом с дедушкой, но она боялась, что он сочтет ее сумасшедшей. Кроме того, дед тосковал по своей жене, и Аксе не хотелось бередить его скорбь.

Когда реб Нафтоле Холишицер сообразил, что его внучка разогнала брачных маклеров, он встревожился. Аксе шел уже девятнадцатый год. Люди в Красноброде начали судачить — подавай ей принца на белом коне или месяц в небе; так она останется в девках. Реб Нафтоле решил больше не потакать ее причудам, а выдать замуж. Он отправился в одну из ешив и вернулся с молодым человеком по имени Земах, сиротой и ревностным знатоком Писания. Юноша был смуглым, как цыган, маленьким, широкоплечим. У него были густые пейсы. Он был близорук и занимался по восемнадцать часов в сутки. Едва достигнув Красноброда, он тот час пошел в дом учения* и стал раскачиваться взад-вперед над открытой книгой Талмуда. Его пейсы раскачивались тоже. Ученики подходили и заговаривали с ним, а он отвечал им, не отрывая пристального взгляда от книги. Казалось, он знал весь Талмуд наизусть, поскольку поймал каждого на искажении цитаты.

Акса требовала встречи, но реб Нафтоле отвечал, что такие затеи пристали портным и сапожникам, а не девице из хорошей семьи. Он предупредил Аксу, что лишит ее наследства, если та прогонит Земаха. Поскольку мужчинам и женщинам полагалось находиться в отдельных комнатах во

---

* Особое помещение для изучения Торы, в котором принято также и молиться; позднее в некоторых странах и языках слилось с понятием «синагога».

время помолвки, Акса так и не увидела жениха до подписания брачного контракта. А взглянув на него, услышала, как бабушка сказала: «Они сбывают тебе дрянной товар».

Бабушкины слова прозвучали настолько отчетливо, что все, как казалось Аксе, должны были их услышать, но никто не услышал. Девушки и женщины столпились вокруг Аксы, поздравляя ее и превознося ее красоту, ее наряд, ее драгоценности. Дед протянул ей контракт и гусиное перо, а бабка воскликнула: «Не подписывай!» Она схватила Аксу за локоть, и по бумаге расплылась клякса.

Реб Нафтоле закричал:

— Что ты наделала!

Акса пыталась расписаться, но перо выпало из ее рук. Она разрыдалась.

— Дедушка, я не могу.

— Акса, ты позоришь меня.

— Дедушка, прости.— Акса закрыла лицо руками.

Поднялся крик. Мужчины шипели, а женщины смеялись и плакали. Акса плакала беззвучно. Ее отвели, а вернее, почти отнесли в спальню и положили на постель.

Земах воскликнул:

— Не хочу жениться на строптивой бабе!

Он протолкался сквозь толпу и побежал нанимать повозку, чтобы ехать обратно в ешиву. Реб Нафтоле пошел за ним и пытался умиротворить его словами и деньгами, но Земах швырнул банкноты на землю. Кто- то принес из гостиницы, в которой стоял Земах, его плетеный сундук. Прежде чем повозка тронулась, Земах вскричал:

— Я никогда не прощу ей, и Бог не простит!

После случившегося Акса заболела. Реб Нафтоле, которому всю жизнь везло, не привык к неудачам. Он расхворался, на лице его появилась какая-то желтоватая бледность. Женщины и девушки пытались утешить Аксу. Раввины и старейшины навещали реба Нафтоле, но он день ото дня все слабел. Через некоторое время Акса оправилась и поднялась с постели. Она пошла в комнату деда и заперла за собой дверь на засов. Служанка, подслушивавшая и глядевшая в замочную скважину, сообщила, что сама слышала, как дед сказал Аксе: «Ты сошла с ума!»

Акса ходила за своим дедом, приносила ему лекарства и

мыла его губкой, но у старика началась горячка. Из носа шла кровь. Он перестал мочиться. И вскоре умер. По его завещанию, составленному много лет назад, третья часть состояния предназначалась на милостыню, а остальное — Аксе.

Согласно закону, необязательно сидеть всю шиву*, оплакивая смерть деда, но тем не менее Акса исполнила весь этот обряд. Она сидела на низеньком табурете и читала книгу Иова. Она не велела никого пускать в дом. Она опозорила сироту, умудренного в Писании, из-за нее умер дед. Ей стало тоскливо. Поскольку Акса уже прежде читала историю Иова, она принялась искать в библиотеке деда другую книгу. К ее изумлению, она обнаружила Библию на польском — в ней был помимо Ветхого Новый завет. Акса знала, что это запретная книга, но все же стала ее листать. Ей было любопытно, читал ли эту книгу дед. Нет, это было невероятно. Она вспомнила, что в дни поста у гоев, когда мимо дома проходили процессии со святыми иконами и хоругвями, ей не разрешали глядеть в окно. Дед говорил, что это — идолопоклонство. Может быть, бабушка читала эту Библию, гадала Акса. Между страниц она нашла несколько засушенных васильков — бабушка часто рвала эти цветы. Бабушка была родом из Богемии; говорили, что ее отец состоял в секте Саббатая Цви. Акса припомнила, что, князь Чарторыский, наезжая в имение, часто проводил время с бабушкой и хвалил ее польский выговор. Он говорил, что, не будь она еврейкой, он бы на ней женился,— величайший комплимент.

В ту ночь Акса прочла Новый завет до последней страницы. Ей трудно было допустить, что Иисус был единородным Сыном Божьим и что Он поднялся из могилы, но она нашла в этой книге больше утешения для своей измученной души, чем в бичующих словах пророков, никогда не поминавших Царствия Небесного и воскрешения из мертвых. Пророки обещали лишь добрые плоды от добрых дел или же глад и мор за дела злые.

На седьмую ночь шины Акса легла спать. Она уже

---

* Траурный обычай, заключающийся в сидении на полу без обуви после кончины близкого человека (обычно семь дней).

потушила свет и задремала, когда услышала знакомые шаги деда. В темноте явилась его фигура: светлое лицо, белая борода, мягкие черты лица и даже ермолка над высоким лбом. Дед тихо сказал:

— Акса, ты совершила грех.

Акса стала плакать:

— Дедушка, что мне делать?

— Все еще можно поправить.

— Как?

— Попроси прощения у Земаха, стань его женой.

— Дедушка, он мне несносен.

— Он предназначен тебе судьбой.

Дед помедлил еще мгновение, и Акса почувствовала запах его нюхательного табака, который он обычно смешивал с гвоздикой и нюхательной солью. Затем дед исчез, оставив после себя пустоту среди тьмы. Акса была слишком поражена, чтобы испугаться. Она прислонилась к деревянной спинке кровати и вскоре заснула.

Акса проснулась, вздрогнув. Она услышала бабушкин голос. Бабушка не шептала, как дед, у нее был сильный голос живого человека.

— Акса, дитя мое.

Акса залилась слезами:

— Бабушка, где ты?

— Я здесь.

— Что мне делать?

— Что твоей душе угодно.

— Что, бабушка?

— Ступай к священнику. Он даст тебе совет.

Акса оцепенела. Страх перехватил ей горло. Она с трудом произнесла:

— Ты не моя бабушка. Ты — злой дух.

— Я — твоя бабушка. Помнишь, как летним вечером мы вошли в пруд возле пологого холма и ты нашла в воде гульден?

— Помню, бабушка.

— Я могла бы привести тебе и другие доказательства. Да будет тебе известно, что гои правы. Иисус из Назарета — Сын Божий. Он родился от Святого Духа по пророчеству. Непокорные евреи отказались признать истину и наказаны за это. Мессия не придет к ним, потому что Он уже здесь.

— Бабушка, мне страшно.

Внезапно дед прокричал ей в правое ухо:

— Акса, не слушай. Это не бабушка. Это какой-то злой дух прикидывается бабушкой, чтоб обмануть тебя. Не поддавайся его богохульствам. Он повлечет тебя к погибели.

— Акса, это не дедушка, а какой-то домовой из-за бани,— встряла бабушка.— Земах — никудышка и мстителен в придачу. Он замучает тебя, и дети, которых он с тобой зачнет, будут такими же паразитами, как он сам. Спасайся, пока не поздно. Бог — с христианами.

— Лилит*! Искусительница! Дочь Кетеб Мерири**! — прорычал дед.

— Лжец!

Дед замолчал, но бабушка продолжала говорить, хотя ее голос ослабел. Она говорила:

— Твой настоящий дед познал истину в небесах и обратился. Его крестили небесной водой, и теперь он вкушает покой в раю. Все святые — епископы и кардиналы. А те, кто продолжает упрямиться, горят в геенне огненной. Если ты не веришь мне, я дам тебе знак.

— Какой знак?

— Расстегни наволочку, распори швы подушки, и там ты найдешь венец из перьев. Рука человека не может создать подобный венец.

Бабушка исчезла, и Акса погрузилась в тяжелый сон. На рассвете она проснулась и зажгла свечу. Она вспомнила бабушкины слова, расстегнула наволочку и распорола подушку. Увиденное ею было настолько удивительно, что она едва верила своим глазам: пух и перья сплелись в венец, образуя собой мелкий орнамент сложного узора, повторить который не смог бы ни один умелец в этом мире. В верхней части венца был крошечный крестик. Все это было настолько воздушно, что трепетало от дыхания Аксы. Акса ахнула. Кто бы ни сотворил этот венец — ангел или демон, — он трудился в темноте внутри подушки. Она была свидетельницей чуда. Акса задула свечу и вытянулась на

---

* Злой демон женского пола, магически соблазнительная, овладевает мужчинами против их воли.

** Демон, существо с головой теленка, вращающимися рогами, с одним глазом в груди, все тело покрыто волосами и чешуей. Кто из людей и животных увидит его, падает на землю и умирает.

постели. Она долго лежала без единой мысли. Потом вновь заснула.

Наутро, пробудившись, Акса подумала, что ей приснился дурной сон, но на ночном столике она увидела венец из перьев. Он радужно сверкал на солнце. Казалось, он усыпан крохотными бриллиантами. Акса сидела и созерцала это чудо. Потом оделась в черное платье, покрыла голову черной шалью и попросила, чтобы ей подали коляску. Она поехала к дому, где жил Косцик, ксендз.

Экономка открыла дверь. Ксендзу было около семидесяти лет, и он знал Аксу. Он часто приходил в имение святить крестьянам куличи на Пасху, напутствовать умирающих, венчать и служить на похоронах. Один из учителей Аксы однажды одалживал у него латинско-польский словарь. Всякий раз, когда ксендз посещал их, бабушка Аксы приглашала его в свою маленькую гостиную, где они беседовали под пирог с вишневкой.

Ксендз предложил Аксе стул. Она села и обо всем ему поведала.

Ксендз сказал:

— Не возвращайся к евреям, приди к нам. Мы приглядим за тем, чтобы твое состояние осталось неприкосновенным.

— Я забыла взять венец. Я хочу, чтобы он был со мною.

— Так, дочь моя, ступай и принеси его.

Акса отправилась домой, но служанка уже убрала спальню и стерла пыль с ночного столика, венец исчез. Акса искала в мусорной яме, в помоях, но венец исчез бесследно.

Вскоре по Красноброду распространилась ужасная весть о том, что Акса обратилась.

Минуло шесть лет. Акса вышла замуж и стала помещицей Марией Малковской. Старый помещик, Владислав Малковский, умер, не имея прямого наследника, и завещал состояние своему племяннику Людвигу. Людвиг оставался холостяком до сорока пяти лет, и казалось, уже никогда не женится. Он жил в замке дяди со своей сестрой — старой девой по имени Глория. У него были любовницы из крестьянских девушек, с которыми он произвел на свет несколько внебрачных детей. Людвиг был небольшого роста, изящный, с белокурой бородкой клинышком. Он

сторонился людей, предпочитая старинные книги по истории, религии и генеалогии. Он курил фарфоровую трубку, пил и охотился одиночку, пренебрегал дворянскими балами. Хозяйство поместья он держал в твердых руках и был уверен, что его управляющий не крадет. Соседи считали Людвига педантом, а некоторые полагали, что он полоумный. Когда Акса приняла христианство, он предложил ей — теперь Марии — выйти за него замуж. Ходили сплетни, что этот скряга Людвиг влюбился в наследство Марии. Ксендз и все остальные христиане уговаривали Аксу принять предложение Людвига. Он был потомком польского короля Лещинского. Глория, которая была старше Людвига на десять лет, противилась этому браку, но Людвиг на сей раз ослушался ее.

Краснобродские евреи боялись, что Акса станет их врагом и будет подстрекать против них Людвига, как это случалось со многими обращенными, однако Людвиг продолжал торговлю с евреями, продавая им рыбу, зерно и скот. Зелик Фрамполер, еврей-поставщик, снабжал имение различными товарами. Глория оставалась хозяйкой замка.

В первые недели после свадьбы Акса и Людвиг катались вместе в экипаже. Людвиг даже начал делать визиты соседним помещикам и поговаривал о том, что надо бы дать бал. Он рассказал Марии о всех своих похождениях с женщинами и обещал вести себя, как подобает богобоязненному христианину. Но вскоре он вернулся к своим прежним привычкам: перестал бывать у соседей, вновь связался с крестьянскими девушками и снова запил. Раздраженное безмолвие встало между мужем и женой. Людвиг перестал приходить в спальню к Марии, и она не зачала. Позднее они перестали обедать за одним столом, и, когда Людвигу нужно было что-нибудь сообщить Марии, он посылал ей записку с кем-нибудь из слуг. Глория, распоряжавшаяся финансами, выдавала невестке по гульдену в неделю, состояние Марии принадлежало теперь ее мужу. Аксе было ясно, что Бог карает ее и что ей остается только ждать смерти. Но что будет после того, как она умрет? Будет ли она жариться на ложе из иголок или будет брошена в пустыню преисподней? Или перевоплотится в какую-нибудь собаку, в мышь, в камень?

Поскольку ей нечем было заняться, Акса проводила весь

день и часть ночи в библиотеке своего мужа. Людвиг не пополнял ее, и книги были старые, переплетенные в кожу, в дерево и в траченные молью бархат и шелк. Желтые страницы были покрыты бурыми пятнами. Акса читала предания о древних королях, о далеких странах, о разных битвах и интригах между князьями, кардиналами, герцогами. Она размышляла над рассказами о крестовых походах и страшной чуме. Мир кишел пороком, но он был к тому же полон чудес. Звезды в небе воевали между собой и проглатывали друг друга. Кометы предвещали бедствия. Один ребенок родился с хвостом, на одной женщине выросли чешуя и плавники. В Индии факиры ходили босиком по раскаленным углям, не обжигаясь. Другие факиры давали похоронить себя живьем, а потом вставали из могил.

Странно, но после той ночи, когда Акса нашла венец из перьев в своей подушке, силы, царящие во вселенной, не давали ей больше знамений. Она ни разу не слышала ни бабушки, ни деда. Временами Аксе хотелось позвать деда, но она не смела произнести его имя своими нечестивыми устами. Она предала еврейского Бога и больше не верила в христианского, так что она воздерживалась от молитв. Часто, когда Зелик Фрамполер приходил в поместье и Акса видела его из окна, ей хотелось спросить у него про еврейскую общину, но она боялась, что тот почтет за грех разговаривать с нею и что Глория станет винить ее в сношениях с евреями.

Годы проносились мимо. Волосы Глории побелели, и голова ее стала трястись. Бородка Людвига сделалась седой. Слуги постарели, оглохли и почти ослепли. Аксе, или Марии, было едва за тридцать, но она часто казалась себе старухой. С годами она все больше и больше убеждалась в том, что это дьявол склонил ее к обращению и он же сплел венец из перьев. Но пути назад не было. По русскому закону обращенный не мог вернуться в свою веру. Те немногие вести о евреях, которые доходили до нее, были худыми: синагога в Краснобродe сгорела дотла, а с ней и склады на рыночной площади Почтенные отцы семейств и старейшины общины с котомками за плечами отправились просить милостыню. Каждые несколько месяцев случалась какая-

нибудь эпидемия. Возвращаться было некуда. Акса часто думала покончить с собой, но как? Ей не хватало духу повеситься или перерезать себе вены, а яда у нее не было.

Мало-помалу Акса пришла к заключению, что вселенной правят темные силы. Не Бог всему владыка, а Сатана. Она нашла толстую книгу о колдовстве, в которой подробно описывались чары и заклинания, талисманы, вызывание злых духов и домовых, жертвы Асмодею, Люциферу и Вельзевулу*. В книге были рассказы о черной мессе, а также о том, как ведьмы умащают свои тела, собираются в лесу, едят человеческое мясо и летают по воздуху верхом на помеле, кочерге или ободе в сопровождении других ночных существ с рогами, хвостами, крыльями, как у летучих мышей, и свиным рылом. Часто эти чудовища возлежали с ведьмами, рождавшими затем уродцев.

Аксе вспомнилась пословица на идише: «Коль не всплываешь — тони». Лишившись грядущей жизни, она решила насладиться веселием жизни здешней. Ночами она стала призывать дьявола, желая заключить с ним сделку, как это делали многие отверженные женщины в прежние времена.

Однажды в полночь, после того как Акса проглотила зелье из меда, слюны, человеческой крови, вороньего яйца, приправленное мандрагорой, она почувствовала холодный поцелуй на губах. При свете поздней луны она увидела очертания обнаженной мужской фигуры — высокой и черной, с длинными спутанными волосами, рогами и с двумя торчащими клыками, как у кабана. Склонившись над ней, он прошептал:

— Что прикажешь, моя госпожа? Ты можешь просить полцарства.

Его тело было прозрачным, как паутина. От него разило дегтем. Акса хотела было ответить: «Ты мой раб, иди и возьми меня». Но вместо этого она прошептала:
Я хочу видеть бабушку и дедушку.

Дьявол рассмеялся:

---

* Персонажи демонологии. Асмодей — царь демонов, блудный бес и недруг брака; Люцифер — одно из имен Сатаны, повелителя ада; Вельзевул — повелитель скверн, воплощение духовной нечистоты, отступничества, идолопоклонства и т. п.

— От них остался прах!

— Ты сплел венец из перьев? — спросила Акса.

— А кто ж еще?

— Я ж обманщик,— ответил дьявол, хихикнув.

— В чем же истина?

— Истина в том, что истины нет.

Дьявол чуть помедлил и исчез. Остаток ночи Акса провела меж сном и явью. Ей слышались голоса. Не груди набухли, сосцы стали твердыми, живот раздулся. Боль пронзала череп. Она чувствовала оскомину, язык так распух, что она боялась, он разорвет рот. Глаза вылезали из орбит. В ушах так стучало, словно били молотом о наковальню. Потом она почувствовала, что у нее начались схватки. «Я рожаю демона!» — воскликнула Акса. Она стала молиться Богу, которого оставила. Наконец она погрузилась в сон, а когда проснулась в предрассветной тьме, все боли прекратились. Она увидела деда в ногах кровати. На нем были белая мантия и облачение вроде того, что он надевал в канун Йом Киппура*, прежде чем благословить Аксу и идти на молитву Кол-Нидре**. Сияние исходило из его глаз и бросало отсвет на покрывало Аксы.

— Дедушка,— пробормотала Акса.

— Да, Акса. Я здесь.

— Дедушка, что мне делать?

— Беги прочь. Покайся.

— Я погибла.

— Каяться не поздно никогда. Найди человека, которого ты опозорила. Стань дщерью иудейской.

Потом Акса не могла вспомнить, действительно ли дед говорил с ней или она понимала его без слов. Ночь минула. Окна покраснели от рассвета. Щебетали птицы. Акса осмотрела простыню. Крови не было. Она не родила демона. Впервые за многие годы она прочла еврейскую благодарственную молитву.

---

* Судный день, праздник всепрощения. Господь отпускает все грехи, сотворенные перед Ним, за чистосердечное раскаяние. Обычаи предписывает просить прощения у всех людей, а Талмуд повелевает не отказывать в прощении.

** Молитва, читаемая в синагоге в начале вечерней службы Йом Киппура. Примирение с Богом, разрешение от обетов.

Акса встала с постели, вымылась над тазом и покрыла волосы шалью. Людвиг и Глория лишили ее состояния, но у нее еще оставались бабушкины драгоценности. Она завернула их в платок и положила в корзину вместе с рубашкой и нижним бельем. Людвиг либо ночевал у одной из своих любовниц, либо с рассветом отправился на охоту. Глория лежала больная в своих покоях. Служанка принесла Аксе завтрак, но та едва притронулась к нему. Потом она покинула поместье. Собаки лаяли на нее, как на чужую. Старые слуги изумлённо глядели, как барыня прошла через ворота с корзиной в руках, покрытая платком, как крестьянка.

Хотя земля Малковских была неподалеку от Красноброда, Акса провела в дороге почти весь день. Она садилась передохнуть и мыла руки в ручье. Она читала вслух молитву и ела ломоть хлеба, который захватила собой.

Рядом с Краснобродским кладбищем стояла лачуга Эбера-могильщика. Возле лачуги его жена стирала белье в лохани. Акса спросила у нее:

— Так я иду в Красноброд?

— Да, прямо.

— Что нового в местечке?

— Кто вы?

— Я родственница реба Нафтоле Холишицера.

Женщина вытерла руки о передник:

— Ни души не осталось от этого семейства.

— А где Акса?

Женщина затрепетала:

— Отец Небесный, да погребут ее вниз головой.— И женщина рассказала об обращении Аксы.— Она наказана уже на этом свете.

— Что сталось с тем юношей из ешивы, с которым она была помолвлена?

— Кто его знает? Он нездешний.

Акса спросила, где могилы бабушки и деда, и старуха указала ей два надгробных камня, склонившихся друг к другу, замшелых и заросших сорной травой. Акса пала перед ними ниц и пролежала так до наступления ночи.

Три месяца Акса блуждала от ешивы к ешиве, но так и не нашла Земаха. Она рылась в поминальных книгах общин,

расспрашивала старейшин и раввинов — все безрезультатно. Поскольку не во всяком городе есть гостиница, она часто ночевала в богадельнях. Она лежала на соломенном тюфяке, укрывшись рогожей, и безмолвно молила дедушку явиться и рассказать, где ей найти Земаха. Но дед не отзывался. В темноте старые и больные кашляли и бормотали. Дети кричали. Матери ругались. Хотя Акса сносила все это как часть своего наказания, ей трудно было побороть в себе чувство унижения. Люди, возглавлявшие общины, обходились с ней грубо. Ей приходилось по многу дней ждать, пока они ее примут. Женщины относились к ней подозрительно — почему она ищет какого-то мужчину, у которого наверняка есть жена и дети, если он вообще не в могиле? «Дедушка, зачем ты понуждаешь меня к этому?! — восклицала Акса.— Или укажи мне путь, или пошли смерть прибрать меня».

Однажды зимним вечером Акса сидела в люблинской гостинице и спрашивала хозяина, не слышал ли он о человеке по имени Земах — маленьком, смуглом, бывшем ученике ешивы и знатоке Писания. Один из постояльцев сказал:

— Вы имеете в виду Земаха, учителя из Избицы?

Он описал Земаха, и Аксе стало ясно, что она нашла того, кого искала.

— Он был помолвлен с одной девушкой в Красноброде.

— Знаю. Она обратилась. А вы кто?

— Родственница.

— Что вы хотите от него,— спросил постоялец.— Он беден и упрям вдобавок. У него забрали всех учеников. Он дикий и своенравный человек.

— У него есть жена?

— Уже было две. Одну он замучил до смерти, а другая ушла.

— А дети у него есть?

— Нет, он бесплоден.

Постоялец хотел еще что-то сказать, но пришел слуга и позвал его куда-то.

Глаза Аксы наполнились слезами. Дедушка не оставил ее. Он вел ее верным путем. Она пошла узнать, как ей добраться до Избицы, и напротив гостиницы уже стояла

крытая повозка, готовая отправиться в путь. «Нет, я не одинока,— сказала себе Акса,— каждый мой шаг известен небесам».

Сначала дорога была мощеной, но вскоре превратилась в две грязные колеи с ухабами и колдобинами. Ночь была сырой и темной. Часто пассажирам приходилось слезать и помогать извозчику вытаскивать повозку из грязи. Попутчики ругали извозчика, но Акса переносила неудобства безропотно. Шел мокрый снег, и дул холодный ветер. Каждый раз, выбравшись из повозки, она погружалась в грязь выше щиколоток. В Избицу прибыли поздно вечером. Местечко было сплошным болотом. Лачуги обветшали. Кто-то показал Аксе порогу к дому Земаха-учителя — дом стоял на холме, возле мясной лавки. Несмотря на то что была зима, в воздухе пахло падалью. Собаки шныряли вокруг лавки.

Акса заглянула в окно лачуги Земаха и увидела облупившиеся стены, земляной пол и полки с потрепанными книгами. Горел лишь фитиль в плошке с маслом. За столом сидел маленький человек с черной бородой, лохматыми бровями, желтым лицом и острым носом. Он близоруко согнулся над большой книгой. Голова его была покрыта подкладкой от ермолки, а одет он был в стеганую кацавейку, из которой торчал грязный ватин. Пока Акса стояла и смотрела, из норы вышла мышь и пробежала по постели, состоявшей из тюфяка с гниющей соломой, подушки без наволочки и траченной молью овчины, служившей одеялом. Несмотря на то что Земах постарел, Акса узнала его. Он почесался. Потом он поплевал себе на кончики пальцев и вытер их об лоб. Да, это был он. Аксе хотелось смеяться и плакать одновременно. На миг она обернулась в темноту. Впервые за все эти годы она услышала голос бабушки:

— Акса, беги.

— Куда?

— Назад к Исаву.

Потом она услышала голос деда:

— Акса, он спасет тебя от бездны.

Акса никогда не слышала, чтобы дед говорил так пылко. Она почувствовала пустоту, которая приходит перед обмороком. Она привалилась к двери, и та отворилась.

Земах поднял одну лохматую бровь. Глаза у него были

навыкате, с желтушными белками.

— Кто ты?

— Вы — реб Земах?

— Да, кто ты?

— Акса из Красноброда. Ваша бывшая невеста...

Земах молчал. Он открыл свой кривой рот, в котором торчал единственный зуб, черный как гвоздь.

— Обращенная?

— Я вернулась в иудейство.

Земах вскочил на ноги. Ужасный крик сотряс его.

— Вон из моего дома. Да сгинет имя твое!

— Реб Земах, пожалуйста, выслушайте меня...

Он подскочил к ней со сжатыми кулаками. Плошка с маслом опрокинулась, и свет погас.

— Падаль!

В доме учения в Холишице было битком народу. Накануне новолуния целая толпа собралась читать молитвы. С женской галереи доносилось благочестивое чтение. Внезапно открылась дверь, и чернобородый мужчина в оборванной одежде шагнул внутрь. Через плечо у него висела котомка. Он вел за собой на веревке, словно корову, какую-то женщину. На ней был черный платок, платье из мешковины и какие-то обноски на ногах. На шее у нее болталась связка чеснока. Молящиеся смолкли. Незнакомец дал знак женщине, и она пала ниц на пороге.

— Евреи, топчите меня! — призывала она.— Евреи, плюйте в меня!

В доме учения поднялась суматоха. Незнакомец подошел к столу для чтения, постучал по нему, требуя тишины, и заговорил нараспев:

— Семья этой женщины родом из вашего города. Ее дедом был реб Нафтоле Холишицер. Это — Акса, обратившаяся и вышедшая замуж за помещика. Ныне она узрела истину и хочет искупить свои мерзкие прегрешения.

Хотя Холишиц был расположен в той части Польши, что принадлежала Австрии, историю Аксы слышали и здесь. Некоторые прихожане утверждали, что обряд раскаяния не таков, что нельзя тащить человека на веревке, как скотину. Иные грозили незнакомцу кулаками. Действительно, в Австрии обратившийся мог вернуться в иудейство по закону

этой страны. Но если христиане узнают, что кто-то из обратившихся в их веру подвергся таким унижениям, последуют жестокие упреки и обвинения. Старый раввин реб Бецалель приблизился к Аксе скорыми шажками.

— Встань, дочь моя. Раз уж ты раскаялась, ты — одна из нас.

Акса поднялась:

— Рабби, я опозорила мой народ.

— Раз уж ты раскаялась, Вседержитель простит тебя.

Когда молившиеся на женской галерее услышали о том, что происходит, они бросились в мужское помещение и среди них — жена раввина. Реб Бецалель сказал ей:

— Отведи ее домой и одень в приличную одежду. Человек создан по образу Божьему.

— Рабби,— сказала Акса,— я хочу искупить свои грехи.

— Я наложу на тебя покаяние. Не мучай себя.

Некоторые женщины заплакали. Жена раввина сняла свою шаль и набросила Аксе на плечи. Другая замужняя женщина предложила Аксе накидку. Они отвели ее в помещение, где в прежние времена заключали согрешивших против общины,— в нем еще сохранились колода и цепь. Там женщины одели Аксу. Кто-то принес ей юбку и башмаки. Пока они хлопотали вокруг Аксы, та била себя кулаками в грудь и перечисляла свои прегрешения; она посрамила Бога, она поклонялась идолам, она совокуплялась с гоем. Акса всхлипывала:

— Я занималась колдовством, я вызывала дьявола. Он сплел мне венец из перьев.

Когда Аксу одели, супруга раввина увела ее к себе в дом.

После молитв мужчины стали расспрашивать незнакомца, кто он такой и что его связывает с внучкой реба Нафтоле.

Тот отвечал:

— Мое имя Земах. Я должен был стать ее мужем, но она отказала мне. Теперь она пришла просить у меня прощения.

— Еврею подобает прощать.

— Я простил ее, но Вседержитель есть Бог Возмездия.

— Но Он есть и Бог Милосердия.

Земах стал спорить со знатоками Писания и тотчас обнаружил свою эрудицию. Он цитировал Талмуд, Ком-

ментарии и Респонсы*. Он даже поправил раввина, когда тот допустил неточность в цитате.

Реб Бецалель спросил его:

— Ты женат?

— Я разведен.

— В таком случае все можно уладить.

Раввин пригласил Земаха к себе в дом. Женщины сидели с Аксой на кухне. Они заставляли ее поесть хлеба с цикорием. Она постилась уже третий день. В кабинете раввина мужчины хлопотали о Земахе. Они принесли ему брюки, башмаки, кацавейку и шапку. У него были вши, и его отвели в баню.

Вечером собрались у раввина семь наиболее почтенных жителей города и все старейшины. Их жены привели Аксу. Раввин объявил, что, согласно закону, Акса считается незамужней. Ее союз с помещиком был не чем иным, как прелюбодеянием. Раввин спросил:

— Земах, желаешь ли ты взять Аксу в жены?

— Желаю.

— Акса, возьмешь ли ты Земаха в мужья?

— Да, рабби, но я недостойна.

Раввин назначил Аксе покаяние. Она должна была поститься каждый понедельник и каждый четверг, воздерживаться от мяса и рыбы в будни, читать псалмы и с рассветом подниматься на молитву. Раввин сказал ей:

— Суть не в наказании, а в угрызениях совести «Пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил — и Он исцелит нас» — так сказал пророк.

— Рабби, простите,— прервал его Земах.— Подобное покаяние налагается за обычные грехи, а не за обращение.

— Что ты хочешь, чтобы она делала?

— Есть более суровые покаяния.

— Какие, например?

— Носить камни в башмаках. Кататься нагим телом по

---

* Буквально — вопросы и ответы. Законодательные разъяснения и судебные решения, посылавшиеся выдающимися законоведами и раввинами в ответ на запросы отдельных лиц и общин. Большинство респонсов являлось талмудическими исследованиями и сводилось к объяснению и критике талмудического текста, напоминая этим комментарии.

снегу зимой и по крапиве летом. Поститься от Субботы до Субботы.

— В наши дни у людей нет сил сносить столь суровые наказания,— сказал раввин, чуть поколебавшись.

— Если им достало сил грешить, они должны обладать силой для очищения.

— Святой рабби,— сказала Акса,— не облегчайте мою участь. Пусть рабби наложит на меня жестокое покаяние.

— Я сказал, чему следует быть.

Все молчали. Потом Акса произнесла:

— Земах, подай мне мой узел.

По приходе Земах положил ее узел в угол. Теперь он принес его к столу, и Акса вынула из него какой-то мешочек. Вздох вырвался у собравшихся, когда она высыпала из него жемчужные, бриллиантовые и рубиновые украшения.

— Рабби, это мои драгоценности,— сказала Акса,— мне не пристало владеть ими. Распорядитесь ими по своему усмотрению.

— Они принадлежат тебе или помещику?

— Мне, рабби. Я унаследовала их от моей дорогой бабушки.

— Написано, что даже самый щедрый не должен отдавать более пятой части.

Земах отрицательно покачал головой:

— Опять я не согласен. Она обесчестила свою бабушку, пребывающую в раю. Не следует позволять ей наследовать бабушкины драгоценности.

Раввин схватился за бороду.

— Если ты все знаешь, ты и будь раввином.— Он поднялся со стула, но потом вновь уселся: — На что вы будете жить?

— Я стану водоносом,— сказал Земах.

— Я могу месить тесто и стирать белье,— сказала Акса.

— Ладно, делайте как знаете. Я верю в милосердие закона, а не в его жестокость.

Среди ночи Акса открыла глаза. Муж и жена жили неподалеку от кладбища в лачуге с земляным полом. Весь день Земах носил воду. Акса стирала белье. За исключением Суббот и праздников, оба постились каждый день и ели

только вечером. Акса клала в свои башмаки песок и гальку и носила грубую шерстяную рубаху на голое тело. Ночью они спали раздельно на полу — он на подстилке возле окна, она — на соломенном тюфяке возле печки. На веревке, протянутой от стены до стены, висели саваны, которые Акса сшила для себя и для мужа.

Они были женаты уже три года, но Земах все еще не приближался к ней. Он сознался, что сам тоже погряз в грехе. Имея жену, он вожделел Аксу. Он расплескивал свое семя, подобно Онану*. Он жаждал отомстить Аксе, поносил Вседержителя и вымещал гаев на своих женах, одна из них умерла. Мог ли он еще более оскверниться?

Хотя их лачуга была рядом с лесом и они могли даром брать дрова, Земах не позволял топить печь по вечерам. Они спали в одежде, укрывшись мешками и тряпьем. Люди в Холишице были уверены, что Земах сумасшедший; раввин призвал к себе мужа и жену и объяснил, что мучить себя так же жестоко, как мучить других, но Земах привел цитату из Источника Мудрости о том, что покаяние без умерщвления плоти бессмысленно.

Акса каждый вечер перед сном исповедовалась, и все же сны ее не были чисты. Сатана являлся ей в образе бабушки и описывал великолепные города, изящные балы, страстных помещиков, похотливых женщин. Дед опять замолчал.

В снах Аксы бабушка была молодой и красивой. Она пела непристойные песни, пила вино и танцевала с мошенниками. В иные ночи она вела Аксу в храмы, где священники пели, а идолопоклонники преклоняли колена перед золотыми изваяниями. Нагие куртизанки пили вино из рогов и предавались беспутству.

Однажды ночью Аксе приснилось, что она стоит нагая в круглой яме. Какие-то карлики танцуют вокруг нее. Они поют бесстыдные погребальные песни. Слышатся звуки труб и барабанный бой. Когда она проснулась, мрачное пение все еще звенело в ее ушах. «Я погибла навеки»,— сказала она себе.

Земах тоже проснулся. Он глядел на ту часть оконного

---

* Второй сын Иуды от хананеянки, дочери Шуи. По требованию отца женился на вдове умершего бездетным старшего брата Ира, но, зная, что дети его будут считаться детьми брата, не захотел оставить потомство. В наказание за это Бог умертвил его.

стекла, которую не заколотил снаружи досками. Потом спросил:

— Акса, ты не спишь? Выпал снег.

Акса слишком хорошо знала, что у него на уме. Она сказала:

— У меня нет сил.

— У тебя были силы предаться нечестивцам.

— У меня болят кости.

— Скажи об этом ангелу возмездия.

Снег и поздняя луна отбрасывали в комнату яркий отсвет. Земах отрастил длинные, как у древнего отшельника, волосы. Борода его буйно разрослась, и глаза горели в ночи. Акса никак не могла понять, откуда у него берутся силы весь день носить воду и еще учиться по ночам. Он едва прикасался к вечерней пище. Чтобы не наслаждаться едой, он глотал хлеб, не прожевав его, он пересаливал и переперчивал суп, который она ему варила. Акса и сама была истощена. Она часто глядела на свое отражение в лужах и видела худое лицо, ввалившиеся щеки, болезненную бледность. Она часто кашляла, сплевывая мокроту и кровь. Сейчас она сказала:

— Прости меня, Земах, я не могу подняться.

— Вставай, блудница. Может быть, это твоя последняя ночь.

— Дай-то Бог.

— Признавайся! Говори правду!

— Я тебе все сказала.

— Ты получала удовольствие от разврата?

— Нет, Земах, нет.

— В последний раз ты говорила, что получала.

Акса долго молчала.

— Очень редко. Разве что на миг.

— Ты забывала Бога?

— Не совсем.

— Ты знала закон, данный Богом, и нарушила его своей охотой.

— Я думала, что истина у христиан.

— Только оттого, что сатана сплел тебе венец из перьев?

— Я думала, это чудо.

— Шлюха! Не оправдывайся!

— Я не оправдываюсь. Он говорил голосом бабушки.

— Почему ты слушала бабушку, а не деда?

— Я была глупой.

— Глупой? Ты много лет коснела в грехе.

Через некоторое время муж и жена босыми выходили в ночь. Земах бросался в снег первым. Он переворачивался очень быстро. Ермолка спадала у него с головы. Его тело было покрыто черными волосами, словно мехом. Спустя минуту Акса тоже бросалась наземь. Она переворачивалась в снегу медленно и молча, в то время как Земах твердил: «Мы грешили, мы изменяли, мы крали, мы лгали, мы насмехались, мы бунтовали». И потом добавлял: «Да станет моя смерть по воле Твоей искуплением всех беззаконий моих».

Акса часто слышала этот плач, но он всегда приводил ее в трепет. Так причитали крестьяне, когда ее муж, помещик Малковский, порол их. Акса страшилась причитаний Земаха больше, чем зимнего холода и летней крапивы. Временами, когда дух его смягчался, Земах обещал, что придет к ней как муж к жене. Он даже сказал, что ему хочется быть отцом ее детей. Но когда это будет? Он продолжал выискивать все новые преступления и в ней, и в себе. Акса день ото дня слабела. Саваны на веревке и надгробные камни на кладбище, казалось, звали ее к себе. Она заставила Земаха дать обет, что он произнесет каддиш над ее могилой.

В жаркий день месяца Таммуза* Акса пошла собирать щавель на пастбище у реки. Она постилась весь день и теперь хотела сварить похлебку себе и Земаху на ужин. Собирая щавель, она вдруг почувствовала непреодолимое изнеможение. Акса распростерлась на траве и задремала, собираясь передохнуть всего лишь четверть часа. Но в глазах у нее помутилось, и ноги онемели. Акса погрузилась в глубокий сон. Когда она открыла глаза, уже настала ночь. Небо покрылось тучами, воздух был тяжелым и влажным. Приближалась гроза. Земля дымилась запахами разнотравья, от которых у Аксы кружилась голова. В темноте она нашла свою корзину, но та была пуста, коза или корова — кто-то съел ее щавель. Внезапно она вспомнила свое детство, когда бабушка и дедушка баловали ее, когда она была одета в бархат и шелк и ей прислуживали служанки и лакеи. Теперь ее душил кашель, лоб горел и по спине пробегал озноб.

---

* Четвертый месяц по библейскому календарю, соответствует июлю.

Поскольку луна не светила и звезды затмились, Акса едва разбирала дорогу. Босыми ногами она наступала на колючки и в коровий навоз. Что-то прокричало в ней: «В какую ж западню я угодила!» Она подошла к какому-то дереву и остановилась передохнуть. В этот момент Акса увидела деда. Его белая борода светилась в темноте. Акса узнала его высокий лоб, его кроткую улыбку и нежную доброту во взгляде. Она воскликнула:

— Дедушка! — И в одно мгновение ее лицо омылось слезами.

— Я все знаю,— сказал дед.— Твои страдания и твою скорбь.

— Дедушка, что мне делать?

— Дочь моя, твоим испытаниям пришел конец. Мы ждем тебя — я, бабушка, все, кто тебя любит. Святые ангелы придут тебя встречать.

— Когда, дедушка?

В этот момент образ растаял. Осталась только тьма. Акса нащупывала дорогу домой как слепая. Наконец она добралась до лачуги. Открыв дверь, сразу почувствовала, что Земах дома. Он сидел на полу, и глаза его были словно угли. Он закричал:

— Это ты!

— Да, Земах.

— Почему ты так долго не возвращалась? Из-за тебя я не мог спокойно прочитать вечернюю молитву. Ты смущала мой ум.

— Прости меня, Земах. Я устала и заснула на лугу.

— Лживая! Обращенная! Подлая! — завизжал Земах.— Я искал тебя на пастбище. Ты блудила с пастухом!

— Что ты говоришь, Боже сохрани!

— Скажи мне правду! — Он вскочил на ноги и стал трясти ее.— Стерва! Искусительница! Лилит!

Земах никогда не вел себя так буйно. Акса сказала ему:

— Земах, муж мой, я верна тебе. Я заснула в траве. Когда я шла домой, я видела дедушку. Мое время истекло. — Ее охватила такая слабость, что она опустилась на пол.

Гнев Земаха тотчас прошел. Скорбный вопль вырвался из его груди:

— Милая душа, куда я денусь без тебя? Ты святая. Прости мне мою жестокость. Это из-за моей любви. Я хотел

очистить тебя, чтобы ты могла воссесть в раю со Святыми Матерями.

— Я удостоюсь, чего заслужила.

— Почему это должно было произойти именно с тобой? Или в небесах нет справедливости? — И Земах стал причитать тем голосом, который приводил Аксу в ужас. Он бился головой о стену.

На следующее утро Акса не встала с постели. Земах принес ей кашу, которую сварил на треноге. Когда он кормил Аксу, каша выливалась у нее изо рта. Земах привел городского лекаря, но лекарь не знал, что делать. Пришли женщины из погребального общества. Акса лежала, совершенно обессилев. Жизнь иссякала в ней. В полдень Земах отправился пешком в город Ярослав за доктором. Настал вечер, но Земах не вернулся. Еще утром жена раввина прислала Аксе подушку. Впервые за многие годы Акса спала на подушке. К вечеру женщины из погребального общества разошлись по домам к своим семьям, и Акса осталась одна. Фитиль горел в плошке с маслом. Чуть теплый ветерок влетал через открытое окно. Луны не было, но звезды поблескивали. Стрекотали сверчки, и лягушки квакали человеческими голосами. Время от времени тень проходила по стене напротив ее постели. Акса знала, что конец ее близок, но не боялась смерти. Акса вглядывалась в свою душу. Она родилась красивой и богатой, ей было дано больше, чем другим. По несчастью, все стало наоборот. Страдала ли она за свои грехи или в нее воплотилась душа согрешившего в одном из прошлых поколений? Акса знала, что последние часы ей следует употребить на молитву и покаяние. Но таков был ее удел — сомнение не оставляло ее даже теперь. Дедушка говорил ей одно, бабушка — другое. Акса читала в старинной книге об отступниках, отрицавших существование Бога, считавших мир случайным сочетанием атомов. Теперь у нее было одно желание: чтобы ей было дано знамение и открылась полная истина. Акса лежала и молилась о чуде. Она забылась легким сном, и ей снилось, что она падает в бездну, тесную и темную. Каждый раз, когда ей казалось, что она достигла дна, оно распадалось под ней, и Акса начинала погружаться вновь еще быстрее. Тьма становилась все тяжелей и бездна все глубже.

Акса открыла глаза, зная, что ей делать. Собрав пос-

ледние силы, она поднялась и нашла нож. Она сняла наволочку и немыми пальцами распорола швы подушки. Из пуха, которым была набита подушка, она извлекла венец из перьев. Некая сокрытая рука сплела в верхней части венца четыре буквы Господнего Имени.

Акса положила венец возле постели. В колеблющемся свете фитиля она отчетливо видела каждую букву: Йод, Хей, Вав и еще Хей. Но она спрашивала себя, почему этот венец есть большее откровение истины, чем тот? Неужто и на небе есть разные веры? Акса стала молиться о новом чуде. В своем смятении она вспомнила слова дьявола: «Истина в том, что истины нет».

Поздно вечером одна женщина из погребального общества вернулась к ней. Акса хотела попросить ее не наступать на венец, но была слишком слаба. Женщина наступила на венец, и его тонкие сплетения распались. Акса закрыла глаза и больше никогда не открывала их. На рассвете она вздохнула, и душа ее отлетела.

Одна из женщин подняла с полу перо и поднесла к ноздрям Аксы, но перо не шелохнулось.

Позже в тот же день женщины из погребального общества омыли Аксу и одели ее в тот саван, который она сама себе сшила. Земах так и не вернулся из Ярослава, и о нем больше слыхом не слыхивали. В Холишице поговаривали о том, что его убили на дороге. Некоторые предполагали, что Земах был не человеком, а злым духом. Аксу похоронили возле часовни одного святого человека, и раввин произнес над ней погребальное слово.

Одно осталось загадкой. Перед самой смертью Акса распорола подушку, присланную ей женой раввина. Женщина, омывавшая ее тело, обнаружила следы пуха у нее между пальцев. Откуда у умирающей нашлись силы сделать такое? И что она искала? Но сколько бы жители города ни гадали об этом, сколько бы объяснений ни пытались найти, им так и не удалось узнать истину.

Ибо если и существует такая вещь, как истина, она замысловата и сокровенна, как венец из перьев.

Плагиатор

1

Раввин из Мархлева реб Касриэл Дан Кинскер ходил взад-вперед по своему кабинету. Время от времени он останавливался, хватал себя за белую бороду левой рукой и, отпустив бороду, растопыривал перед собой все пять пальцев — характерный жест, означавший, что рабби столкнулся с некой проблемой. Рабби разговаривал сам с собой: «И как он только решился на такое? Он в самом деле переписал все слово в слово!»

Рабби имел в виду одного из своих учеников, Шабсая Гетцеля. В течение нескольких лет этот Шабсай Гетцель учился у рабби и часто пользовался его рукописями. В самом деле, рабби даже просил его переписать несколько своих толкований.

Последние сорок лет реб Касриэл Дан писал проповеди и комментарии к талмудическим текстам, но все еще никак не мог решиться на публикацию хотя бы одного из своих трудов. Он помнил предостерегающий стих из Экклесиаста: «А что сверх всего этого, сын мой, того берегись: составлять много книг — конца не будет...»

Авторы стекались в Мархлев, чтобы продать право на публикацию или раздобыть денег на печатание своих трудов. Некоторые просили реба Касриэла Дана написать одобрительное предисловие. Это были как раз те авторы, которые в своих исследованиях совершенно упускали из виду собственно текст Талмуда. Вместо этого они городили один софизм на другой и вычитывали в словах древних авторов никогда не подразумевавшиеся значения.

Рабби колебался, прежде чем отказаться писать такого рода предисловия, из опасения, что его нежелание могло быть истолковано как оскорбление автору. С другой стороны, хвалить труд, который он не одобрял, было бы

столь же дурно. К тому же требовалось много времени и хорошее зрение, чтобы читать эти рукописи. Иной почерк было трудно разобрать, особенно в запоздалых соображениях, небрежно приписанных на полях. Когда возникал вопрос, отчего бы ребу Касриэлу Дану не издать какую-нибудь из его книг, он говорил: «Слава Богу, довольно авторов и без меня. Пусть евреи следуют тому, что написано доселе».

Один из кратких комментариев к Библии, написанных его дедом, приходил на ум рабби. «Написано в псалмах — когда придет Мессия, «тогда возрадуются все древа дубравныя». Вопрос таков: чему будут рады деревья? Им что за дело? Ответ таков: к приходу Мессии писатели напишут так много книг, что они обеспечат топливо для печей. Таким образом, не нужно будет больше жечь древесину, и деревья возрадуются своему спасению».

Все это очень хорошо, но то, что сделал Шабсай Гетцель, было настолько гнусно, что рабби уже несколько недель был словно одержимый. Этот молодой человек переписал целые разделы из рукописей рабби и напечатал их под своим собственным именем. Это было воровство — открытое и бесхитростное. Рабби никак не мог поверить, что Шабсай Гетцель способен на такое, и все еще пытался придумать Гетцелю какое-нибудь оправдание.

Но чем больше рабби сравнивал свою рукопись с напечатанной книгой Шабсая Гетцеля, тем больше он изумлялся. Рабби ясно сознавал, что Шабсаю Гетцелю не страшно разоблачение. Он мог быть уверен, что рабби не опустится до того, чтобы позорить ближнего, даже если тот согрешил. Кроме того, Шабсай Гетцель был еще зятем реба Тэвье, старосты общины, у которого было много родственников в Мархлеве. Разоблачение в этом деле привело бы к скандалу и осквернению Имени Всевышнего.

Но о чем думал Шабсай Гетцель, пока сидел, переписывая десятки страниц из рукописей реба Касриэла Дана? Может быть, он вообразил, что для него есть какое-то особое небесное произволение? Или он, не приведи Господи, еретик, который не верит ни в Создателя, ни в Его Суд?

Чем больше реб Касриэл Дан раздумывал над этим, тем в

большее приходил смущение. Он вновь и вновь хватался за бороду. У него не было привычки разговаривать с самим собой вслух, но слова сами срывались с его губ. Он морщил высокий лоб под ермолкой, хмурил брови и кривился, как от физической боли. Он останавливался перед книжным шкафом, словно искал ответ меж корешков древних книг.

Известно, конечно, что ни один человек не согрешит, если безумие не коснется его души. С другой стороны, это верно только для грехов, совершенных под влиянием момента или в приступе ярости, даже если человек при этом крадет или, не приведи Господи, совершает прелюбодеяние. Но сидеть день за днем, неделя за неделей и присваивать себе чужой труд — это же чистое распутство. И кроме того, как этот Шабсай Гетцель все еще осмеливается глядеть ребу Касриэлу Дану в глаза?

Все это было загадкой. Реб Касриэл Дан провозглашал себе и всему миру: «Конец света близок!» Разве этот случай не подобен описанным в трактате Сота*, когда в нем повествуется о знамениях, предвосхищающих пришествие Мессии: «В следах Мессии вырастет бесстыдство, взлетят цены, лоза принесет плод, но вино будет дорого. Служение идолам станет ересью ненаказуемой... Книжники затмятся умом, и убоявшиеся греха навлекут на себя презренье; истины не будет, отроки надсмеются над старшими своими, и престарелый поднимется перед юношей...»

— Неужели все зашло так далеко? — спрашивал себя рабби.

Рабби знал, что ему не следовало тратить так много времени на эти рассуждения. Он должен был молиться, изучать Писание и служить Богу. Все эти размышления о Шабсае Гетцеле вели лишь к раздражению. Из-за них рабби лишился сна и теперь с трудом мог сосредоточиться на своих предрассветных занятиях. Он даже вымещал свою горечь на жене. Ему следует держать все это в тайне. Конечно, теперь ему придется оставить всякую мысль о публикации собственных писаний, ибо злые языки начнут болтать и все кончится сплетнями и обвинениями.

«Кто знает? — думал рабби.— Может быть, таким

---

* Буквально — неверная жена. Заглавие трактата, касающегося обвинения и подозрения жены в неверности.

образом небо хочет воспрепятствовать публикации моих трудов. Но как это увязать со свободной волей, дарованной всем людям?»

Дверь отворилась, и вошел Шабсай Гетцель.

На первый взгляд в его приходе не было ничего необычного. Шабсай Гетцель в течение многих лет приходил к рабби и все еще считался его учеником. Действительно, сам реб Касриэл Дан еще год назад посвятил его. Но теперь вид Шабсая Гетцеля встревожил рабби.

«Я не вымолвлю ни единого гневного слова и, упаси Господи, ни на что не намекну»,— решил реб Касриэл Дан. Он заставил себя сказать: «Добро пожаловать, Шабсай Гетцель».

Шабсай Гетцель, низкорослый, смуглый, с черными как смоль глазами, с черными бровями и маленькой черной бородкой, был одет в лисью шубу с бахромой из лисьих хвостов и в соболью шапку набекрень. Он ступал мягко в своих отороченных мехом сапогах. Он приложил два пальца к мезузе* на двери и поцеловал их. Он осторожно снял шубу, шерстяной шарф и остался в кафтане.

Рабби указал Шабсаю Гетцелю на стул возле стола и сам сел в кресло.

Реб Касриэл Дан был выше Шабсая Гетцеля. Из-под его белых взъерошенных бровей внимательно глядела пара серых глаз. На нем было атласное одеяние, бриджи, полуботинки и белые гольфы до колен. Рабби едва исполнилось шестьдесят лет, но выглядел он на восемьдесят. Лишь походка его по-прежнему была твердой, а взгляд — пронзительным. Все движения Шабсая Гетцеля были обдуманны, рабби же двигался суетливо. Он открыл какую-то книгу и тут же снова закрыл ее. Он отодвинул перо и чернила, а затем вновь потянулся за ними.

— Итак, Шабсай Гетцель, что нового? — осведомился он.

— Я получил несколько писем.

— Ага!

---

* Буквально — дверной косяк. Свиток пергамента, на котором начертаны слова молитвы, обычно прибивается к косяку двери. При входе и выходе из дома набожный еврей прикладывает пальцы к мезузе и потом их целует.

— Не хотите ли взглянуть на них?

— Что же, давай посмотрим.

Реб Касриэл Дан наперед знал, что это были за письма. Шабсай Гетцель разослал экземпляры своей книги различным раввинам, и они отвечали ему, восхваляя его труд. К нему уже обращались как к «великому светилу», «живой библиотеке», «корчевателю гор».

Раввины красноречиво выражали то наслаждение, которое им доставило чтение его толкований, называя их «глубокими, как море», «сладкими, как мед», «драгоценными, как жемчуга и алмазы».

Читая эти витиеватые отзывы, рабби молил Бога, чтобы тот уберег его от злых мыслей.

— Ну что же, превосходно. «Доброе имя лучше драгоценного умащения»,— объявил он.

Внезапно рабби все понял. Его искушали. Небо испытывало его, чтобы выяснить, насколько он вынослив. Одно ложное движение, и он попадет в сети, расставленные сатаной. Он опустится до ненависти, печали, ярости и, кто знает, до каких еще прегрешений. Ему оставалось одно: не размыкать уст и сохранять разум в чистоте. Нет никаких сомнений в том, что Шабсай Гетцель совершил прегрешение; но он, реб Касриэл Дан, не Господь Вседержитель. Не его дело судить ближнего. Кто может сказать, что происходит в чужом сердце. Кто в состоянии измерить те силы, что влекут плоть и кровь к тщете, алчности, безрассудству? Реб Касриэл Дан давно понял, что многих людей их страсти почти лишают разума.

Рабби вынул носовой платок и вытер лоб.

— Какова благая цель твоего прихода?

— Я хотел взглянуть на респонсы, что вы написали для рабби из Сохачева.

Реб Касриэл Дан хотел было спросить, не готовит ли Шабсай Гетцель новую книгу. Но удержался и сказал:

— Это в ящике комода. Погоди, я достану.

И рабби вышел в соседнюю комнату, где у него хранились рукописи. Вскоре он вернулся и вручил Шабсаю Гетцелю копию респонсов.

2

Шабсай Гетцель пробыл у рабби несколько часов. Сразу же после его ухода в комнату вошла супруга рабби.

Реб Касриэл Дан сразу заметил, что жена разгневана. Она ворвалась в комнату, шурша подолом об пол. Ленты ее капора тряслись. Ее узкое, изрезанное глубокими морщинами лицо было бледнее обычного. Еще не дойдя до стола, за которым сидел муж, она стала пронзительно кричать:

— Что ему надо здесь, этому червяку? Почему он торчит здесь целые дни? Он тебе враг, а не друг! Твой злейший враг!..

Реб Касриэл Дан оттолкнул от себя книгу.

_ Что ты кричишь? Не могу же я указывать людям на дверь.

— Он приходит сюда шпионить, этот лицемер! Он хочет занять твое место! Отец Небесный, пусть не доживет он до этого дня! Он подстрекает всех против тебя. Он заодно со всеми твоими врагами!..

Реб Касриэл Дан ударил кулаком по столу:

— Откуда ты знаешь?

Острый подбородок старухи, на котором росло несколько белых волосков, начал трястись. Воспаленные глаза в набрякших веках гневно сверкнули.

— Все знают, не считая простофиль вроде тебя! Кроме своего Талмуда, ты ничего не видишь, ты слеп, ты уже рук от ног не отличаешь. Шабсай вознамерился стать здешним раввином. Он выпустил какую-то книгу и всем ее разослал. Ты всю свою жизнь мараешь бумагу без толку. А он, хоть и молод, уже известен. Ты дождешься, когда тебя вышвырнут, а его назначат на твое место.

— Пусть их. Я должен продолжать свои занятия.

— Я не дам тебе заниматься! Что пользы ото всей твоей учености? Тебе платят восемнадцать гульденов в неделю. Другие раввины живут в довольстве, а мы умираем с голоду. Мне приходится месить тесто вот этими больными руками. Твоя дочь сама стирает, потому что у нее нет денег на прачку. Твое облачение протерлось до дыр. Если бы я не латала и не штопала его каждый вечер, ты бы расхаживал в лохмотьях. А что станется с твоим сыном? Его обещали

сделать твоим помощником. С тех пор прошло уже два года, а он так и не получил ни гроша.

— Разве я виноват в том, что они не держат слова?

— Настоящий отец сделал бы что-нибудь для своего Ребенка. Он не позволил бы так долго тянуть с этим делом. Ты же знаешь, что за болтуны в нашей общине, ты же знаешь, что на них нельзя положиться. Вот что я тебе скажу. — Тон супруги рабби изменился. — Они собираются назначить твоим помощником Шабсая Гетцеля. И когда твой час пробьет — да случится это через сто лет,— он сядет на твое место. А что до Пессахии, то он останется без хлеба.— Хрипло прокричав последние слова, она сжала пальцы в крошечные кулачки. Она вся дрожала: чепец, серьги, впалый рот, в котором не осталось ни одного зуба, пустая кожа двойного подбородка.

Реб Касриэл Дан скорбно наблюдал за ней. Ему было жаль сына, который за последние двадцать лет так и не сумел найти себе заработка и жил за счет отца. Реб Касриэл Дан боялся, как бы у жены не начался приступ — у нее были желчные камни,— эти приступы неминуемо случались, если она перевозбуждалась. И действительно, уже раздались стоны, предвещавшие первые спазмы.

Реб Касриэл Дан прекрасно понимал, что почтенные люди города вовсе не нуждались в Пессахии. Пессахия не умел льстить старейшинам общины. Он держался отчужденно. Его назначение помощником постоянно откладывалось под различными предлогами. Но в конце концов, разве можно против воли навязывать общине человека?

Однако о назначении Шабсая Гетцеля на место Пессахии реб Касриэл Дан слышал впервые. «В тихом омуте черти водятся,— подумал он.— Шабсай Гетцель, мой ученик, стал моим смертным врагом. Он хочет отнять у меня все».

Помимо воли что-то внутри реба Касриэла Дана прокричало: «Да не доживет он до того дня!» Но рабби тотчас вспомнил, что непозволительно проклинать кого-либо даже в мыслях. Вслух он сказал жене:

— Не кипятись. Откуда нам знать, верно ли все это. Люди могут выдумать что угодно.

— Все правда. Весь город знает. Куда ни пойдешь,

только об этом и слышишь. Начиная со следующей Субботы Шабсай Гетцель будет проповедовать в доме учения. Он будет получать двадцать гульденов в неделю, на два гульдена больше, чем ты, чтобы всем было ясно, кто здесь хозяин.

Реб Касриэл Дан почувствовал пустоту, стеснившую его сердце. «Вот так Авессалом восстал на Давида,— пронеслось у него в мозгу.— Да разделит он участь Авессалома».

Реб Касриэл Дан больше не мог сдержать в себе досаду. Он нагнул голову, веки его опустились. Чуть погодя он поднялся.

__ Да свершится воля небес!

— Ай, пока ты сидишь сложа руки, люди заняты делом. И небеса о тебе не очень-то пекутся.

_ Большего я не заслужил.

— Старый дурак!

Никогда прежде реб Касриэл Дан не слышал от жены таких слов. Конечно, она скоро пожалеет о сказанном. Внезапно он услышал, как та задыхается, стараясь подавить рыдания. Она стала покачиваться, словно вот-вот упадет. Реб Касриэл Дан вскочил и схватил ее за руки. Она дрожала и стонала. Он довел или, скорее, доволок ее до лавки. В смятении позвал на помощь.

Открылась дверь, и в комнату вбежала Телца Миндель, разведенная дочь раввина. Муж Телцы Миндель стал хасидом и ушел жить ко двору праведника из Бельц, откуда он прислал жене уведомление о разводе. Когда Шабсай Гетцель, будучи учеником ешивы и сиротой, стал учиться и столоваться у реба Касриэла Дана, люди в городе предполагали, что он женится на Телце Миндель, несмотря на то что она была на несколько лет старше его. Реб Касриэл Дан сам одобрил бы такой брак.

Но вместо этого Шабсай Гетцель обручился с дочерью реба Тэвье, богача, руководившего общиной. Реб Касриэл Дан не выказал своему ученику неудовольствия. Он сам сочетал их браком. Когда жена раввина бранила Шабсая Гетцеля, называя его лицемером и волком в овечьей шкуре, раввин журил ее, напоминал о том, что браки заключаются на небесах.

Но историю с изданием книги, а теперь еще и попытку стать помощником раввина вместо Пессахии он не мог простить Шабсаю Гетцелю так легко. Реб Касриэл Дан мельком взглянул на дочь и приказал:

— Уложи мать в постель. Сделай грелку. Позови Фейтеля-лекаря.

— Не тащи меня! Я еще не померла! — кричала жена-— Горе мне! Увы и горе мне со всеми моими напастями!

Реб Касриэл Дан вновь взглянул на дочь. Кажется, ещё недавно она была маленькой девочкой, и реб Касриэл Дан играл с ней, сажал ее на колени, покачивая вверх-вниз на воображаемых дрожках. Теперь перед ним стояла женщина с покрытой грязным платком головой, в стоптанных шлепанцах и замаранном фартуке. Она была низкорослой, как мать. У нее были светлые брови и веснушки. Ее бледно-голубые глаза выражали молчаливое уныние, печаль оставленной женщины. Она толстела. И выглядела старше своих лет.

Реба Касриэла Дана мало радовали его дети. Одни умерли в младенчестве. Он потерял взрослого сына и взрослую дочь. Пессахия был очень одаренным мальчиком, но после женитьбы стал неразговорчив. Слова невозможно было добиться от него. Он спал днем и бодрствовал ночью. Пессахия был поглощен каббалой.

Что же удивительного в том, что община отвергла его. В наши дни раввин должен быть деловым человеком, он должен уметь вести счета и даже немного говорить по-русски. До реба Касриэла Дана доходили слухи о том, что в больших городах раввины сами имеют дело с властями и ездят в Люблин к губернатору. Они пользуются гостеприимством богачей. Один раввин даже опубликовал обращение к евреям, в котором призвал их переселяться в колонии на земле Израиля, где они смогут говорить на иврите каждый день, а не только в Субботу. Созывались конференции, люди читали газеты. Мархлев же был захолустьем, отрезанным от мира.

И все же почему Шабсай Гетцель, у которого такой богатый тесть, должен отнимать у бедняка его заработок?

Мать и дочь мелкими шажками вышли из комнаты. Реб Касриэл Дан стал ходить взад-вперед. «Зло еще не одержало

верх,— бормотал он себе под нос.— Есть Творец, есть Промысел Божий, Тора все еще Тора...»

Мысленно реб Касриэл Дан вновь вернулся к книге Шабсая Гетцеля. После этого случая с плагиатом единственное, что мог сделать раввин со своими трудами,— это раз и навсегда скрыть их от посторонних глаз. Иначе их найдут после его смерти, и Шабсай Гетцель будет разоблачен и опозорен или, хуже того, реба Касриэла Дана самого заподозрят в плагиате у этого молодого человека. Но где спрятать рукописи так, чтобы их никто не обнаружил?! Остается только сжечь их.

Реб Касриэл Дан взглянул на печь. В конце концов, какая разница, кто автор? Главное, комментарии опубликованы, и их будут изучать. Небу известна правда.

3

Всю ночь рабби лежал в постели, не смыкая глаз. Он прочел «Слушай, Израиль» и затем произнес благословение «Наводящий узы сна», после которого нельзя вымолвить ни слова. Но сон не приходил.

Реб Касриэл Дан знал, что ему должно делать. В библейском предписании говорилось: «Обличи близкого твоего, и не понесешь за него греха». Он должен вызвать Шабсая Гетцеля и открыто высказать ему свое недовольство. Что пользы? Реб Касриэл Дан уже сейчас слышал скользкие оправдания Шабсая Гетцеля. Он будет прикидываться невинным, пожимать плечами, утверждать, что это община навязывает ему должность. Что касается рукописей, то у рабби их больше не было. Все рукописи обратились в дым. Реб Касриэл Дан ворочался с боку на бок. Он то мерз под пуховиком, то его бросало в жар. То хотелось пить, то помочиться. Он надел свежее белье, но зуд не проходил. Подушка и перина, хоть и пуховые, так ломили затылок и спину, словно кто-то набил их камнями.

Безумные мысли овладели им, такие мысли, которые уменьшали его шансы в будущей жизни. Кто знает? Возможно, еретики правы, возможно, ни Судии, ни Суда не существует. Возможно, Небеса тоже на стороне сильных. Разве не сказано в Талмуде: «Тот, кто сильней, к тому идет

победа...» Может быть, евреи потому и должны терпеть изгнание, что они самый слабый из всех народов. Может быть, убийство животных разрешено только потому, что человек сообразил, как держать в руке нож? Возможно даже, что сильный восседает в раю, а слабый терзается в аду...

«Меня влечет к погибели»,— остерегся реб Касриэл Дан. Он положил руку на лоб. «Отец Небесный, спаси меня... Я погружаюсь, Боже, в адские пучины...» Рабби так резко поднялся, что доски под периной заскрипели. «Почему я лежу здесь и даю злым духам рвать меня на части? Есть лишь одно лекарство — Тора!»

Рабби поспешно оделся. Он зажег лампу и вошел в кабинет. Тени колебались на стене и потолочных балках. Хотя печь была протоплена, зубы у реба Касриэла Дана стучали от холода. Обычно, поднимаясь до рассвета, он ставил самовар и заваривал чай, но сейчас у него не было сил наполнить самовар углями и налить в него воду. Он открыл книгу, но буквы прыгали перед глазами, вызывая головокружение. Они метались из стороны в сторону, прыгали друг через друга, меняли цвет.

«Или я слепну, упаси Господи? — спросил себя реб Касриэл Дан.— Или это пришел мой конец? Ну что же, тем лучше. Кажется, у меня нет больше сил держать себя в руках...»

Голова реба Касриэла Дана медленно опустилась на книгу, он задремал. Видимо, он проспал несколько часов, потому что, когда проснулся, серый дневной свет прочертил щели в ставнях. Снаружи шел снег.

«Что это мне снилось? — спросил себя рабби.— Крики, и вопли, и звон колоколов. Пожар, похороны, резня — все сразу и все одновременно...» Озноб пробежал у него по спине. Отнялись ноги. Он хотел вымыть руки и произнести утренние молитвы, но ему не удавалось подняться на ноги.

Дверь медленно отворилась, и вошел Пессахия, небольшого роста малый с серым лицом, широко расставленными глазами, над которыми почти не было бровей, с округлой бородкой, обычно желтоватой, но этим зимним утром походившей на серую вату. Пессахия не шел, а волочил ноги в шлепанцах. Расстегнутый кафтан открывал

длинные кисти талеса* и потрепанные брюки, подпоясанные тесьмой. Рубаха широко распахнулась на груди, к ермолке прилипли клочья пуха.

— Что ты хочешь? — спросил рабби.

Пессахия ответил не тотчас. Его желтые глаза моргали, и губы дергались, как у заики.

— Отец!

— В чем дело?

— Шабсай Гетцель болен... Очень болен... Он при последнем издыхании... Он нуждается в милосердии.

Реб Касриэл Дан почувствовал острую боль от горла до самых внутренностей.

— Что с ним случилось?

— Послали за доктором... Пока неизвестно... Жена Шабсая пришла просить тебя помолиться за него...

— Чего стоят мои молитвы? Хорошо, оставь меня!

— Отец, его мать звали Фрума Злата...

— Ладно, ладно...

Пессахия вышел. Рабби заметил, что сын хромает.

«Что это с ним? — удивился реб Касриэл Дан.— И выглядит он неважно».

Реб Касриэл Дан закрыл глаза. Причина недуга Шабсая Гетцеля была достаточно ясна. Тому виной невольное проклятие рабби. Стих из Книги притч пришел ему на ум: «Нехорошо и обвинять правого». Согласно комментариям, настоящее значение этих слов таково: «Не должно также праведному определять наказание». Уже одно то, что он в мыслях назвал себя праведным, заставило рабби устыдиться. «Я-то праведник? Человек, обладающий пагубной силой, подобно злому Валааму*?»

Рабби стал молиться за Шабсая Гетцеля: «Господь Вседержитель, пошли ему полное исцеление... Я сотворил много зла, но я не хочу быть убийцей... Я прощаю ему все вполне и навеки».

---

* Облачение поверх платья у мужчин во время молитвы.

* Здесь — злой маг, тщившийся соблазнить израильтян и в конце концов убитый ими. В Талмуде имя Валаам трактуется как «погубитель народа». Был вдохновителем всех врагов Израиля — в Египте он подал фараону совет умерщвлять еврейских младенцев мужского пола.

Рабби поднялся и взял с полки книгу псалмов. Он нашел псалом о милостивом: «Блажен, кто помышляет о бедном...» Наступило время утренних молитв, но рабби продолжал спорить с Провидением: «У меня нет больше сил терпеть все эти горести. Если я не могу обрести покой в старости, лучше возьми меня...»

Несколько дней Шабсай Гетцель боролся с ангелом смерти. Порой казалось, что ему лучше, но потом болезнь вновь возвращалась к нему. Из Замостья приехал доктор. Больного лечили банками и пиявками. Его растирали спиртом и скипидаром. Теща с женой ходили на кладбище молить мертвых предков о помощи. Свечи горели в доме учения. Врата Святого Ковчега были распахнуты настежь. Школьникам велели читать псалмы.

Реб Касриэл Дан отправился навестить своего больного ученика. Он прошел через коридор, через гостиную и вошел в застланную ковром спальню, окна которой были занавешены. На стуле стояли пузырьки с лекарствами. Рабби увидел апельсин, печенье, сладости. Лицо Шабсая Гетцеля было серовато-синим. Он невнятно бормотал, и его бородка двигалась вверх-вниз, словно он что-то жевал. Острый кадык проступил на горле. Лоб был нахмурен, как будто он обдумывал какой-то сложный вопрос.

Реб Касриэл Дан низко поклонился. Вот что случается с плотью и кровью. Вслух он сказал:

— Шабсай Гетцель, выздоравливай! Ты нужен здесь нужен...

Шабсай Гетцель открыл один глаз:

— Рабби!

— Да, Шабсай Гетцель. Я молюсь за тебя день и ночь.

Казалось, будто Шабсай Гетцель хочет что-то сказать, но ничего не выходило наружу, кроме какого-то булькающего звука. Через некоторое время он снова закрыл глаза. Рабби шептал: «Исцелись! Во имя Торы...» И все же он все время знал с отчетливостью, недоступной пониманию, что Шабсай Гетцель никогда не встанет с постели.

Шабсай Гетцель умер той же ночью, а наутро были похороны. В доме учения рабби говорил надгробное слово. Реб Касриэл Дан никогда не плакал, произнося погребальные речи, но на этот раз он прикрыл лицо носовым

платком. Он давился словами. Тесть Шабсая Гетцеля потребовал, чтобы книгу зятя положили на гроб; так его и унесли на кладбище. У Шабсая Гетцеля не было детей, первый каддиш над ним читал раввин.

Через несколько дней община назначила Пессахию помощником раввина. Пили коньяк, ели медовый пирог. На Пессахии был новый кафтан, новые сапоги и ермолка, на которой теперь не было пуха. Он обещал исполнять все обязанности раввина и помогать отцу руководить общиной. Старейшины желали ему удачи.

Прошло несколько недель. Рабби проводил дни в уединении, поручив разбор всех ритуальных и законоведческих вопросов сыну. Он даже перестал ходить молиться в дом учения. Обычно он ел только раз в день — кашу, хлеб, мясо. Теперь он почти не притрагивался к еде. В Субботу он больше не пел гимнов. Он больше не ставил самовар по ночам. Домашние могли слышать, как рабби шагает взад-вперед в темноте, вздыхая и разговаривая с самим собою. Лицо его пожелтело, борода поблекла.

Совершенно неожиданно реб Касриэл Дан объявил, оставляет пост раввина. Он ходатайствовал перед общиной о назначении реба Пессахии на свое место. Он объявил, что согрешил и должен идти в изгнание покаяния ради.

Напрасно плакала жена. Реб Касриэл Дан снял атласное облачение и круглую меховую шапку раввина. Он надел длинное ворсистое пальто и матерчатый картуз. Он простился с женой, с Телцей Миндель, с ребом Пессахией, с жителями города. Какой-то извозчик взялся подвезти его до Люблина.

Когда рабби садился в повозку, один молодой человек, известный своей дерзостью, отважился спросить рабби, что за грех тот совершил. И рабби ответил:

— Заповедь «не убий» заключает в себе все грехи.

Голуби

После смерти жены у профессора Владислава Эйбищюца остались лишь книги да птицы. Он отказался от должности профессора истории Варшавского университета, потому что не мог больше выносить хулиганство студентов, состоявших в братстве «Польский орел». Они являлись на занятия в расшитых золотом фуражках братства, каждый щеголял увесистой тростью и чуть что лез в драку. По какой-то причине, невнятной профессору Эйбищюцу, у большинства из них были красные лица, прыщавые шеи, вздернутые носы и квадратные челюсти, словно совместная ненависть к евреям превратила их в родственников. Даже их голоса, требовавшие, чтобы еврейские студенты сидели на скамьях гетто, звучали одинаково.

Владислав Эйбищюц вышел в отставку на небольшую пенсию. Ее едва хватало на квартирную плату и еду, но что еще нужно в старости? Его подслеповатая служанка Текла была польской крестьянкой. Профессор давным-давно перестал платить ей жалованье. Она готовила им обоим супы и что-нибудь тушеное — то, что можно есть без зубов. Ни тому ни другому не нужно было покупать ни новой одежды, ни даже обуви. Костюмы, пальто, потертые меха, а также платья госпожи Эйбищюц остались от былых дней. Все было тщательно упаковано и пересыпано нафталином.

За долгие годы библиотека профессора так разрослась, что все стены от пола до потолка были покрыты книжными полками. Книги и рукописи лежали в платяных шкафах, в чемоданах, в подвале, на чердаке. Пока была жива госпожа Эйбищюц, она время от времени пыталась навести хоть какой-то порядок. С книг стиралась пыль, и они проветривались. Поврежденные переплеты и корешки восстанавливались. Ненужные рукописи сжигались в печке. Но после ее смерти домашнее хозяйство пришло в упадок. К

тому же профессор теперь собрал еще около дюжины клеток с птицами — простыми и длиннохвостыми попугаями, канарейками. Он всегда любил птиц, и дверцы клеток были открыты, чтобы птицы могли летать свободно. Текла жаловалась, что не в состоянии убирать за ними, но профессор обычно говорил: «Дурочка, всякая Божья тварь чиста».

Мало того, профессор еще ежедневно кормил голубей на улице. Каждое утро и каждый вечер соседи видели, как он выходит из дома с пакетом корма. Профессор Эйбищюц был небольшого роста, сутулый, с редкой бородкой, которая из белой вновь превратилась в желтую, с горбатым носом и впалым ртом. За толстыми линзами очков карие глаза под лохматыми бровями казались огромными и слегка раскосыми. На нем всегда был один и тот же зеленоватый сюртук и давно вышедшие из моды ботинки с эластичной вставкой и круглыми носками. Непослушные пряди белых волос выбивались из-под круглой шапочки. Как только профессор проходил через ворота своего дома и прежде, чем он начинал приговаривать «гули-гули-гули» (такой же сигнал сбора для голубей, как для кур «цып-цып-цып»), стаи птиц стремительно слетались со всех сторон. Они давно поджидали его на старых черепичных крышах и на деревьях вокруг кожно-венерической лечебницы. Улица, на которой жил профессор, начиналась у бульвара Новый Свят и спускалась вниз к Висле. В летнее время между булыжниками пробивалась трава. Движение здесь было редким. Лишь временами приезжал катафалк, чтобы взять труп какого-нибудь пациента, умершего от сифилиса, от волчанки, или же полицейский фургон привозил проституток с венерическими заболеваниями. В некоторых дворах еще действовали ручные водоразборные колонки. По соседству жили в основном старики, редко выходившие из дома. Голуби укрывались здесь от городского шума.

Профессор не раз говорил Текле, что кормить голубей для него все равно что ходить в церковь или в синагогу. Бог не алчет похвал, а голуби каждый день с восхода солнца ждут, чтобы их накормили. Лучше всего послужить Творцу, будучи добрым к его тварям.

Профессор не только получал удовольствие от кормления

голодных голубей. Он учился у них. Как-то он прочел выдержку из Талмуда, где евреи уподоблялись голубям, и только потом понял смысл этого сравнения, у голубей нет никакого оружия в борьбе за существование. Их жизнь почти всецело зависит от тех крох, которые им бросят люди. Они боятся шума, летят прочь от самой маленькой собачонки. Голуби даже не отгоняют воробьев, которые крадут у них пищу. Они, подобно евреям, полагаются на мир, покой и добрую волю. Но из каждого правила есть свои исключения. Так же как среди евреев, среди голубей попадались воинственные особи, отвергшие свои традиции. Были такие голуби, которые отгоняли других, клевали их и хватали зерно прежде всех. Профессор Эйбищюц оставил университет не только из-за студентов-антисемитов, но также из-за студентов-евреев, которые были коммунистами и использовали нападки на прочих евреев для своей пропаганды.

Долгие годы, пока профессор Эйбищюц занимался исследованиями и преподавал, рылся в архивах и писал в научные журналы, он все время доискивался некоего смысла, некоей философии истории, некоего закона, могущего объяснить, куда движется человечество и что побуждает его вести постоянные войны. Было время, когда профессор склонялся к материалистическому толкованию явлений. Он восторгался Лукрецием, Дидро, Фогтом, Фейербахом. Некоторое время он даже верил в Карла Маркса. Но этот период юношеских увлечений скоро миновал. Теперь профессор ударился в противоположную крайность. Не надо быть верующим, чтобы видеть целенаправленность природы, истину так называемой телеологии*, отвергнутой учеными-естественниками. Да, есть некий замысел в природе, пусть она порой и представляется нам совершенно хаотичной. Мы все необходимы: евреи, христиане, мусульмане, Александр Македонский, Карл Великий, Наполеон, даже Гитлер. Но почему и зачем? Чего достигает Божественное Начало, позволяя коту есть мышь, ястребу убивать кроликов и студентам из польского братства нападать на евреев?

В последнее время профессор, казалось, вовсе оставил

---

* От греческого telos (цель) — учение о цели и целесообразности явлений природы.

занятия историей. Под старость он пришел к заключению, что по-настоящему его интересуют биология и зоология. Он приобрел несколько книг о животных и птицах. Несмотря на то что страдал глаукомой и почти ничего не видел правым глазом, он купил себе старый микроскоп. В его исследованиях не было профессиональной цели. Он читал назидания ради, как благочестивые юноши читают Талмуд, он даже распевал и раскачивался при этом так же, как они. Или, выдернув волос из бороды, он клал его на предметное стекло и тщательно рассматривал в микроскоп. Каждый волосок был сложнейшим образом устроен. Любой лист, луковая шелуха, комочек сырой земли из цветочного горшка Теклы обнаруживали красоту и гармонию, возрождавшие его душу. Профессор Эйбищюц сидел за микроскопом, канарейки пели, длиннохвостые попугаи верещали, разговаривали, целовались, простые попугаи болтали, называя друг друга то мартышкой, то сынишкой, то обжорой на простонародном наречии Теклы. Нелегко было поверить в Божью доброжелательность, но Божья мудрость сияла в каждой травинке, в каждой мухе, в каждом цветке или крошечном существе.

Вошла Текла. Маленькая, рябая, с редеющими волосами — отчасти цвета соломы, отчасти седыми. На ней было выцветшее платье и стоптанные шлепанцы. С высоты ее скул глядела пара раскосых глаз, зеленых, как у кошки. Она приволакивала одну ногу. У нее болели суставы, и она лечила свой недуг мазями и притираниями, добываемыми у знахарок. Она ходила в церковь ставить свечи своим святым.

— Я вскипятила молоко,— сказала она.

— Не хочу я никакого молока.

— Может быть, добавить щепотку кофе?

— Не надо, Текла, спасибо. Я ничего не хочу.

— У вас пересохнет горло.

— А где написано, что горло обязательно должно быть влажным?

Текла не ответила, но и не ушла. Когда госпожа Эйбищюц была на смертном одре, Текла поклялась ей заботиться о профессоре. Через некоторое время профессор поднялся со стула. Он сидел на специальной подушечке, чтобы не раздражать свой геморрой.

— Ты еще здесь, Текла? Ты такая же упрямая, как моя покойная жена, да будет ей земля пухом.

— Профессору пора принимать лекарство.

— Какое лекарство? Дурочка. Ни одно сердце не может биться вечно.

Профессор положил увеличительное стекло на открытую страницу книги, называвшейся «Птицы Польши», и отправился взглянуть на своих собственных птиц.

Кормление уличных голубей было просто удовольствием, но забота о двух десятках птиц, живших в открытых клетках и свободно летавших по всей квартире, требовала усилий и ответственности. Дело не только в том, что Текле приходилось убирать за ними. Дня не проходило без какой-нибудь катастрофы. То длиннохвостый попугай застрянет между книжной полкой и стеной, и его нужно выручать. То подерутся самцы. То как-нибудь повредятся только что снесенные самкой яйца. Профессор держал птиц различной породы в отдельных комнатах, но Текла по забывчивости оставляла двери открытыми. Стояла весна, но окна нельзя было открывать. Воздух был спертым и сладковатым от птичьего помета. Обычно по ночам птицы спят, но случалось, что один из попугаев, разбуженный каким-то своим птичьим кошмаром, начинал безрассудно кружить в темноте. Нужно было зажигать свет, чтобы он не убился. И все же какую радость доставляли профессору Эйбищюцу эти существа всего за несколько склеванных зерен! Один из длиннохвостых попугаев научился говорить десятка два слов и даже целые фразы. Он садился профессору на лысину, клевал его в мочку уха, взбирался на дужку его очков и даже, как акробат, ухитрялся стоять на указательном пальце профессора, когда тот писал. За годы общения с птицами профессор убедился, насколько сложны эти существа, насколько богаты их характеры и индивидуальности. После многолетнего наблюдения за птицами он все еще удивлялся их проделкам.

Больше всего профессору нравилось, что у этих существ нет чувства истории. Что прошло, то прошло. Все приключения моментально забываются. Каждый день все начинается сначала. Но даже здесь бывают исключения. Профессор сам видел, как один попугай зачах после смерти

своей подруги. Профессор примечал в жизни своих птиц случаи страстной влюбленности, ревности, подавленности чувств и даже склонности к убийству и самоубийству. Он мог следить за птицами часами. Была определенная цель в чувствах, инстинктах, в строении крыльев, которыми наделил их Бог, в том, как они высиживают яйца, линяют, меняю окраску. Как все это делается? Наследственность? И что такое эти хромосомы, эти гены?

После смерти жены у профессора появилась привычка разговаривать с самим собой или с теми, кто давно умер. Он говорил Дарвину: «Нет, Чарлз, с твоей теорией не разгадать загадку. И с вашей тоже, месье Ламарк».

В этот вечер, приняв лекарство, профессор насыпал в пакет семян льна, проса, сушеного гороха и вышел кормить голубей. Хотя был май, шел дождь и холодный ветер дул с Вислы. Но сейчас дождь перестал, и луч солнца рассек облака, как секира Господня. Стоило профессору появиться, и голуби устремились вниз со всех сторон. Некоторые, торопясь, хлопали крыльями по шляпе профессора, чуть не сбивая ее с головы. Профессор понял, что принесенного им корма недостанет на такую тучу голубей. Он старался разбрасывать зерна так, чтобы голуби не дрались между собой, но все равно они вскоре сбились в тесную толкущуюся массу. Одни опускались на спину другим, пытаясь силой протиснуться к зерну. Улица была слишком узка для такой огромной стаи птиц. «Бедняжки проголодались»,— пробормотал профессор Эйбищюц. Он слишком хорошо понимал, что его кормления не решают проблемы. Чем больше их кормишь, тем скорее они размножаются. Он читал, что где-то в Австралии развелось так много голубей, что под их тяжестью проваливались крыши. В конечном счете никому не удастся перехитрить природу с ее законами. И все же профессор не мог обречь эти существа на голодную смерть.

Профессор Эйбищюц вернулся в прихожую, где он держал мешок корма, и вновь наполнил свой пакет. «Надеюсь, они дождутся меня»,— бормотал профессор. Когда он вышел, птицы все еще были на месте. «Слава Богу»,— сказал он, несколько смутившись религиозным

смыслом своих слов. Он начал разбрасывать корм, но Руки его дрожали, и зернышки падали слишком близко от него. Голуби садились ему на плечи, на руки, били крыльями и клевали его. Один наглый голубь пытался опуститься прямо на край пакета с кормом.

Внезапно камень ударил профессора Эйбищюца в лоб. Несколько мгновений профессор не понимал, что произошло. Но тут в него ударило еще два камня, один попал в локоть, а другой — в шею. Все голуби взмыли вверх. Каким-то образом профессор сумел добраться до дома. Он часто читал в газетах о нападениях хулиганов на евреев в Саксонском саду и на окраинах. Но с ним никогда прежде не случалось такого. В этот миг он не знал, что для него мучительнее: боль в голове или стыд «Неужто мы так низко пали?» — лепетал он. Должно быть, Текла увидела, что произошло, из окна. Она бежала к нему, простирая руки, зеленая от злости. С шипением и бранью она бросилась на кухню смочить полотенце холодной водой. Профессор снял шляпу и потрогал пальцем шишку на лбу. Текла отвела его в спальню, сняла пальто и заставила лечь. Помогая ему, она сыпала проклятьями.

— Покарай их, Боже, покарай их, Отец Небесный. Да горят они в аду. Да сгниет их нутро, чума их возьми!

— Довольно, Текла, довольно.

— Если это наша Польша, гори она огнем!

— В Польше много добрых людей.

— Подонки, ублюдки, паршивые собаки!

Текла вышла, должно быть, позвать полицию. Профессор слышал, как она кричала и жаловалась соседям. Вскоре все стихло. Должно быть, она не пошла за полицией, потому что профессор услышал, как она возвращается одна. Она слонялась взад-вперед по кухне, бормоча себе под нос и ругаясь. Профессор закрыл глаза. «Рано или поздно все приходится испытать на собственной шкуре,— размышлял он.— Чем я лучше прочих жертв? Такова история, а это как раз то, чем я занимался всю свою жизнь».

Слово на иврите, давно забытое им, вдруг пришло профессору на ум: решаим — злодеи. Злодеи творят историю.

С минуту профессор лежал пораженный. В единый миг

он нашел ответ, на поиски которого потратил годы. Как яблоко, которое Ньютон увидел падающим с дерева, камень, брошенный каким-то хулиганом, открыл ему, профессору Эйбищюцу, некую истину, применимую ко всем временам. Она в точности совпадала с тем, что было написано в Ветхом завете. В каждом поколении есть люди, жаждущие лжи и кровопролития. Негодяи не могут сидеть без дела. Будь то война или революция, под чьим бы знаменем они ни сражались, неважно, каков их лозунг,— цель у них всегда одна: творить зло, причинять боль, проливать кровь. Одна общая цель объединяет Александра Македонского и Гамилькара*, Чингисхана и Карла Великого, Хмельницкого и Наполеона, Робеспьера и Ленина. Слишком просто? Закон гравитации тоже был прост, и именно поэтому его так долго не могли открыть.

Смеркалось. Владислав Эйбищюц начал задремывать. В последний момент перед тем, как заснуть, он сказал себе: «И все же не может быть, чтоб это было так просто».

Вечером Текла достала немного льда и сделала профессору свежий компресс. Она хотела позвать доктора, но профессор не позволил. Он стыдился доктора и соседей. Текла сварила ему овсяной каши. Обычно перед тем, как отойти ко сну, профессор осматривал все клетки, наливал свежую воду, добавлял зерен и овощей и менял песок. В этот вечер он доверил эту заботу Текле. Она выключила свет. Несколько попугаев в его спальне оставались в клетках. Другие спали на карнизе для занавесок. Хотя профессор устал, ему не удалось заснуть тотчас. Здоровый глаз его заплыл, и старик едва мог пошевелить веком. «Надеюсь, я не ослепну совершенно,— просительно обратился он к силам, которые правят этим миром.— Если я должен ослепнуть, уж лучше я умру».

Он заснул, и ему снились незнакомые страны, невиданные ландшафты, горы, долины, сады с огромными деревьями и заросли экзотических цветов. «Где я? — спрашивал он себя во сне.— В Италии? В Персии? В Афганистане?» Земля под ним двигалась, словно он глядел на нее с самолета. Однако самолета не было. Казалось, он

* Карфагенский полководец, отец Ганнибала.

сам повис в пространстве. «Неужто я вне пределов земного притяжения? Как это случилось? Здесь вовсе нет атмосферы. Как бы мне не задохнуться».

Он проснулся и некоторое время не понимал, где находится. Он нащупал компресс. «Почему перевязана голова?» — удивился он. И внезапно все вспомнил. «Да, историю творят злодеи. Я открыл Ньютонову формулу для истории. Я должен переписать свой труд». Внезапно он ощутил боль в левом боку. Он лежал, слушая, как боль пульсирует в его груди. У него были специальные таблетки от приступов грудной жабы, но они лежали в каком-то ящике у него в кабинете. Стефания, его покойная жена, подарила ему колокольчик, чтобы звать Теклу, если ему станет плохо среди ночи. Но профессор не захотел воспользоваться колокольчиком. Он даже не решался включить ночную лампу. Птиц может испугать свет и шум. Текла, должно быть, устала от дневных трудов и неприятных впечатлений. Нападение хулиганов огорчило ее больше, чем его. Что у нее останется в жизни, если ее лишить этих нескольких часов сна? Ни мужа, ни детей, ни родных, ни друзей. Он завещал ей свое имущество, но много ли за него возьмешь? Много ли возьмешь за его неопубликованные рукописи? Эта новая формула...

С минуту профессору Эйбищюцу казалось, что колотье в груди стало не таким болезненным. Потом он почувствовал сильнейшую режущую боль в сердце, в плече, в руке, в ребрах. Он протянул руку к колокольчику, но пальцы его обмякли прежде, чем он дотянулся до него. Профессор и представить себе не мог, что возможна такая боль. Как будто сердце его стискивали в кулаке. Он задыхался и судорожно ловил ртом воздух. Последняя мысль промелькнула в его мозгу. Что станется с голубями?

Ранним утром, когда Текла вошла к профессору в комнату, она насилу узнала его. Фигурка, которую она увидела, не была больше профессором, а чем-то вроде нелепой куклы: желтая, как глина, твердая, как кость, с широко открытым ртом, исказившимся носом, с задран ной вверх бородой; веки одного глаза слиплись, другой глаз был полуоткрыт, придавая лицу выражение потусторонней

улыбки. Кисть руки с восковыми пальцами лежала на подушке.

Текла пронзительно закричала. Прибежали соседи. Кто-то вызвал санитарную карету. Вскоре послышался звук ее сирены, но вошедший в комнату молодой врач взглянул на постель и печально покачал головой. «Тут мы не в силах помочь».

— Они убили его, убили,— причитала Текла.— Они бросали в него камнями. Чтоб они сдохли, убийцы, будь они трижды прокляты, холера их возьми, злодеев окаянных!

— Кто это они? — спросил доктор.

— Наши польские головорезы, хулиганы, звери, убийцы,— отвечала Текла.

— Он что — еврей?

— Еврей.

— М-да...

Почти всеми забытый при жизни, профессор обрел славу в смерти. Прибыли делегации от Варшавского университета, от Свободного университета, от общества историков и от различных других организаций, групп, братств и обществ. Исторические факультеты университетов Кракова, Лемберга*, Вильно телеграфировали, что высылают своих представителей на похороны. Квартира профессора наполнилась цветами. Профессора, писатели, студенты несли почетный караул у тела. Поскольку профессор был евреем, от еврейского погребального общества были присланы два человека читать псалмы над покойным. Испуганные птицы летали от стены к стене, от одной книжной полки к другой, пытаясь найти покой на лампах, карнизах, занавесках. Текла норовила зашикать их обратно в клетки, но птицы улетали от нее. Несколько птиц исчезло, вылетев в двери и окна, по небрежности оставленные открытыми. Один из попугаев Хрипло кричал одно и то же слово тревожно и предостерегающе. Беспрерывно звонил телефон. Члены правления еврейской общины требовали вперед плату за место на кладбище, а некий польский майор, бывший студент профессора Эйбищюца, грозил им ужасными

* Немецкое название Львова.

последствиями.

На следующее утро на улицу въехал еврейский катафалк. На лошадях были черные покрывала и капюшоны с прорезями для глаз. Когда гроб вынесли из дома и похоронный кортеж двинулся вниз к проспекту Тамки и Старому городу, стаи голубей взвились над крышами. Число голубей росло так быстро, что вскоре они закрыли собой небо между домами по обе стороны этой узкой улицы, и день померк, как во время затмения. Они немного помедлили, повиснув в воздухе, затем единой массой двинулись вместе с процессией, кружа над ней.

Делегаты, которые медленно шли за катафалком, неся венки с двойной лентой, поднимали головы в изумлении. Обитатели улицы, старые и больные, вышедшие отдать последний долг профессору, крестились. Чудо совершалось у них на глазах, как в библейские времена Текла, выпростав руки из-под черной шали, восклицала: «Господи Иисусе!»

Туча голубей сопровождала катафалк, пока тот не выехал на Броварную улицу. Крылья круживших ся над процессией голубей, попадая то на солнце, то в тень становились то красными, как кровь, то темными, как свинец. Было очевидно, что птицы стараются лететь так чтобы не обогнать процессию и не отстать от нее. И только долетев до перекрестка Фурманской и Марие нштадтской, голуби сделали еще один последний круг и всей массой повернули обратно — весь крылатый сонм, провожавший своего благодетеля в последний путь.

Рассвет следующего дня походил на грязно-желтые осенние рассветы. Небо провисло низко и ржаво. Дым из труб опускался вниз, собираясь на черепичных крышах. Шел мелкий дождь, колючий, как иголка. Ночью кто-то намалевал свастику на дверях профессорской квартиры. Текла вышла с пакетом корма, но лишь несколько голубей слетело вниз. Они клевали корм нерешительно, оглядываясь по сторонам, словно боялись быть уличенными в нарушении какого-то птичьего запрета. Запах гари и гнили поднимался из канавы — едкий смрад грядущей катастрофы.

Танец

Когда я был мальчиком лет двенадцати, Матильде Блок было уже далеко за тридцать или даже сорок. Она была исполнительницей народных песен и успела прославиться в Варшаве своим талантом и красотой. Она выступала в Хазмире* и, помнится, порой даже в филармонии. У нее была стройная фигура, синие глаза, необычайно белая кожа, а таких золотых волос, как у нее, я больше никогда не видел. Родом из состоятельной хасидской семьи, она свободно говорила на польском, русском, идише, немного на иврите и даже слегка владела французским, которому богатых девиц учили в гимназии. Она сама аккомпанировала себе на рояле. Матильда вышла замуж за художника Адама Блока. Он выставлялся в знаменитом Захенте**, и его картины покупали заграничные музеи. Обладатель студии с застекленной крышей на Мазовецкой улице, он был завсегдатаем кафе «Жемяньска», и в польской прессе появлялось множество статей о его живописи. Рецензенты превозносили мягкость рисунка, колорит и изысканность сюжетов. Однако этот мягкий художник стал бить жену сразу же после свадьбы. Как рассказывала впоследствии Матильда, он выбил ей зуб еще в медовый месяц. Однажды он ударил ее ножкой стула, и пришлось вызывать санитарную карету. Матильда прожила с ним около двух лет, родила ему сына, которого назвали Ицци, а потом они развелись. Адам вновь женился вскоре после развода, но Матильда жила одна со своим сыном. Жестокость Адама Блока была постоянным предметом её разговоров. Мой старший брат был хорошо знаком с Адамом Блоком — они вместе учились живописи. Адам почти никогда не упоминал Матильду. Однажды он изрек после

---

* Театр.

** Картинная галерея.

рюмки водки: «Тот факт, что я не убил ее, доказывает мою святость».

Если красивая женщина в разводе, да к тому актриса, мужчины домогаются ее, однако Матильда не подавала повода для сплетен. Все силы она отдавала пению и сыну. Когда я впервые встретил Ицци у своего брата, он учился в гимназии и был гораздо старше меня. Внешне он походил на мать, но нрав у него был отцовский. Учение его не занимало. Он пробовал рисовать, петь, играть на скрипке в оркестре и даже пытался стать актером. За несколько недель до выпускных экзаменов он бросил школу. В 1914 году, когда Ицци был двадцать один год, его призвали в царскую армию, но освободили от службы из-за порока сердца. Однажды мой брат пришел домой и сказал нам, что Ицци ударил мать. Матильда плакала, рассказывая ему об этом. Она сказала: «Что мне теперь делать? Он для меня — все».

В 1917 году моя мать увезла меня и моего младшего брата в Билгорей, который был тогда под австрийцами. Мой старший брат уехал в Россию. Все, что я мог узнать

о Матильде, я узнавал из объявлений в газетах, печатавшихся на идише. Время от времени там появлялись отзывы о ее выступлениях. Рецензент всегда употреблял одно и то же выражение: «Матильда Блок пела как соловей». К этому времени ей, наверное, было под пятьдесят.

Когда я начал писать и вернулся в Варшаву, я стал часто бывать в писательском клубе и других культурных заведениях и там вновь встретился с Матильдой Блок. Адама уже не было в живых. Ходил слух, что он покончил с собой в Париже. После его смерти Матильда надела траур и продолжала носить его из года в год. Хотя она была по-прежнему стройной, ее золотые волосы потускнели, а на коже появилось множество морщин. Только глаза были все те же. Печаль и доброта синели в них. Ицци было уже за тридцать, он не женился и жил вместе с матерью. Когда я представился Матильде и сказал, кто я такой, она воскликнула: «Тот самый маленький хасид с рыжими пейсами! Как же, я читаю тебя в ”Литературной эпохе”».

Она расцеловала меня. Я пригласил ее в кафе, и после первых же слов она стала плакать и сморкаться. Ицци не интересуется женитьбой. Он отказывается встречаться с

девушками и ничего не делает. Недавно он решил, что хочет стать танцором, а сам лежит в постели до полудня, читает бульварные романы, выкуривает бесчисленное множество сигарет и все время слушает болтовню и песенки по радио. «Что его ждет? Я не буду лаги» вечно. Импресарио сетуют на то, что я слишком стара и у меня все меньше и меньше ангажементов».

— Как же вы за все это время не вышли замуж? Вы же красивая женщина.

— Замуж? За кого? После жизни с настоящим художником ординарности вроде всяких там торговцев или дантистов несносны. В них нет души. К тому же я старею.

— Что же на самом деле произошло у вас с Адамом Блоком? Я ведь был в ту пору мальчиком.

— Что произошло? По правде сказать, я и сама не знаю. Я его слишком сильно любила. Это мое несчастье. Чем больше я его любила, тем сильней он злился. Он не мог стерпеть ни единого доброго слова. Когда я целовала его, он содрогался. Любое мое слово выводило его из себя, и он без конца придирался ко мне. Надеюсь, Бог простил его, ведь я давным-давно его простила.

Матильда чуть помолчала, восстанавливая разрушенный слезами грим. Потом она сказала:

— Ицци такой же. Я никогда не знаю, из-за чего он взбесится. Стоит мне сказать безобиднейшее слово, и он начинает вопить как сумасшедший. Он бросается на меня с кулаками и все время обвиняет в том, что я убила его отца. Что я ему сделала? Я стелюсь перед ним половиком. Я терплю все его капризы. Предупреждаю все его желания. Я хочу лишь услужить ему. Раз, когда я подавала ему башмаки, он взял один и ткнул мне в лицо. При служанке. Это моя вина, не его. Это моя горькая доля.

И Матильда достала кружевной платочек.

Она настояла на том, чтобы я пошел к ней домой — она хотела познакомить меня с Ицци. У Матильды была квартирка из тех, что варшавские женщины сравнивают с бонбоньерками. Квартирка была набита вазами, всевозможными статуэтками, картинами и безделушками. Был и аквариум с золотыми рыбками, и клетка с канарейкой. Матильда постучала в дверь к Ицци, но никто не ответил. У

него играло радио. Матильда сказала мне:

— Вот так он проводит дни и ночи. Я в отчаянии.

Она угощала меня ликером, сладким пирогом, чаем и вареньем. Я всего отведал, но она принесла еще — шоколад, халву, вишневку. Я умолял ее не кормить меня больше, но она все подносила еду и питье. Я сказал:

— Вы слишком добры. В этом ваша беда.

— Я хочу пожертвовать собой, но для кого?

Она открыла шкаф и стала показывать мне вечерние туалеты, кринолины, меха, блузки, прикладывая каждый наряд к себе. Потом она вынула из ящиков драгоценности и рассказывала мне о каждой вещице: как она ей досталась, как звали ювелира и все прочие подробности в том же роде. Я сказал ей, что должен идти, но она упрашивала меня остаться. Из резного комода она извлекла альбомы, битком набитые фотографиями ее самой, ее родственников, ее подруг, Адама Блока, Ицци со дня появления на свет и по сей день. Внезапно дверь распахнулась, и Ицци вышел из своей комнаты в пижаме, в стоптанных шлепанцах, его светлые волосы были растрепаны, лицо покрыто желтоватой щетиной — он походил на больного, поднявшегося с постели. Он закричал:

— Что тебе надо от этого молодого человека?

— Вот подожди. Сейчас он изобьет меня,— сказала Матильда и хрустнула суставами пальцев. Какой-то тусклый блеск появился в ее глазах. Она глядела на Ицци одновременно с любовью и ужасом.

— Я не буду тебя бить,— завопил Ицци,— но этому человеку нужно идти. Я слышал, как он десять раз говорил, что ему пора уходить, а ты присосалась к нему как пиявка...

— Все равно он меня бьет, так же как его отец, упокой, Господи, его душу. Однажды мой дорогой сынок поставил мне синяк под глазом.— Матильда показывала на Ицци указательным пальцем.

— Простите, мне нужно идти,— сказал я.

— Погоди, ты обещал взять с собой моего печенья.

Она стала насыпать печенье в бумажный пакет, но

руки ее дрожали, и печенье рассыпалось по скатерти. Ее бледный двойной подбородок прыгал вверх и вниз как будто сам по себе. Две блестящие слезы катились по нарумяненным

щекам. Она обращалась отчасти ко мне, отчасти к Ицци.

— Вылитый Адам Блок. Как только ему что-нибудь не по нраву, он колотит меня почем зря. И все это мне в награду за то, что я отдала ему свою жизнь, свое здоровье, всю себя. Он убьет меня. Этим все кончится.

— Лживая, подлая, от твоего мученичества тошнит — взревел Ицци.

Он опрокинул стол, свалив все на пол: еду, чашки, бутылки, альбомы. Потом убежал обратно к себе в комету, хлопнув дверью так сильно, что задребезжали оконные стекла и затряслась люстра. Я бросился к наружной двери, а Матильда бежала за мной, крича:

— Печенье, ты забыл печенье!

Прошло около десяти лет. Матильда больше не выступала на профессиональной сцене. Она сохранила девичью фигуру, но лицо ее покрылось сеткой морщин, среди которых синели глаза, блестящие, как у младенца. Она дурно пользовалась косметикой. Краска из-под глаз стекала по носу; пудра на щеках лежала неровными пятнами. Она носила старомодные платья и накидки, потертые боа и шляпки, похожие на опрокинутые горшки. Мне говорили, что она получает пособие от еврейской общины. Раз в год она пела на бенефисе, который устраивали ей актеры, игравшие на идише. Мне случилось попасть на один из таких бенефисов, на котором она пела песню, кончавшуюся словами: «Таких глупцов не видел свет и больше не увидит».

Однажды я заметил ее в одной харчевне для интеллектуалов. Она сидела рядом с Ицци, и по какой-то причине, необъяснимой для меня по сей день, они ели из одной миски. Ицци тоже выглядел постаревшим. Он стал до странности худ, под глазами у него были мешки, в белокурых волосах пробивалась седина. Он по-прежнему ничем не занимался. Матильда стала известна как Schnorrer*. Она ела в кредит в писательском клубе, а потом кассиру самому приходилось оплачивать ее счет. Она много раз занимала у меня по злотому и никогда не возвращала. Матильда стала покровительницей молодых поэтов из провинции. У них

* Попрошайка *(нем.)*.

были исступленные лица, нечесаные волосы, они горели революционным рвением. Они грозили нам, писателям, ухитрявшимся заработать на жизнь, гневом масс и пролетарским возмездием. Каждый из них обещал мне, что, когда революция свершится, он повесит меня на первом же фонаре — всего лишь за то, что я работал корректором в «Литературной эпохе» и переводил, получая по три злотых за страницу. Матильда там и сям добывала еду для этих новичков, слушала их длинные стихи и превозносила их таланты. Раз я слышал, как она говорила одному из них: «Признание приходит поздно, но оно всегда приходит»,— и цитировала украинскую поговорку; «Терпи, казак, атаманом будешь».

Гитлер уже пришел к власти в Германии и требовал польский коридор. В Польше возникла фашистская организация под названием «Нара». В Саксонском саду избивали евреев. Чтобы не сидеть на скамьях отведенного им в аудитории гетто, студенты-евреи слушали лекции в университете стоя. Дряхлый Пилсудский давал интервью, полные непристойностей. На юго-востоке Польши крестьяне по вечерам сидели в темноте — им не на что было купить керосин, и каждую спичку они расщепляли на четыре части. Украинцы в Галиции бунтовали. На еврейских улицах Варшавы сионисты сражались с ревизионистами, коммунисты — с бундовцами, сталинисты — с троцкистами. «Литературная эпоха» закрылась. Обанкротившийся издатель остался должен мне несколько сот злотых. Никто больше не нуждался в переводах.

Этим летом мы с Леной умирали с голоду. Мы сняли комнату на лето в полуразрушенной вилле в Свидере, я заплатил за все лето вперед, но на еду денег не осталось. Как-то утром я продал свои серебряные часы часовщику в расположенном поблизости Отвоцке, отдал бакалейщику долг и поехал в Варшаву, надеясь продать статью или рассказ. Но литературные издатели все были в отпусках. Я звонил друзьям, знакомым, коллегам. Никого не оказалось дома. В замешательстве я потерял банкноту в пять злотых — свой обед и плату за обратный проезд в Свидер: казалось, демоны шутили надо мной. Весь день я просидел в библиотеке писательского клуба, читая еврейские и польские

газеты. Новачинский вновь открыл, что евреи, масоны, протестанты, Сталин, Гитлер и Муссолини — все тайно сговорились уничтожить католицизм и установить диктатуру сионских мудрецов.

Смеркалось. Библиотека к этому времени опустела. Горела одна-единственная лампа. Я поднял глаза от газеты и увидел Матильду Блок. Она поздоровалась и сказала:

— Дорогой, почему ты сидишь один и чем это ты так поглощен?

Я указал на статью, которую читал.

— О, это сумасшедший.

— Порой мне кажется, что обезумело все человечество.

Мне ничего не оставалось, как рассказать ей о своем положении. Она потрепала меня по щеке.

— Голубчик, что ж ты сразу не сказал? Я одолжу тебе денег. Сама еще не знаю сколько. Извини, с собой у меня немного, но...

Матильда предложила мне пойти к ней домой. Она накормит меня ужином, и я смогу переночевать. Я было заикнулся: «Ваш сын...»

— О чем ты говоришь? Он читает тебя. Ты его любимый писатель.

Мы сели в трамвай и поехали к ней домой. Это было то же самое здание, но оно обветшало. На лестнице не было света. В прихожей Матильдиной квартиры пахло газом и грязным бельем. Обои в гостиной обтрепались. Больше не было ни золотых рыбок, ни канарейки. Матильда постучала в дверь к Ицци, но результат был тот же, что и десять лет назад,— он не отозвался. Из кухни она принесла мне хлеб и швейцарский сыр. Мы ели, и время от времени Матильда застывала и вслушивалась. В своей комнате Ицци включил радио и тотчас же выключил его. Мы слышали, как он издает какие-то звуки, словно разговаривает сам с собой. Матильда горько покачала головой.

— Вот жизнь и прошла. И что в ней было? Зачем? У женщин в моем возрасте уже есть внуки. А у меня даже не хватает духу покончить со всем. Что будет с ним, когда меня не станет? Откуда возьмется еда для него?

В этот день я встал рано, много ходил и теперь чувствовал усталость. Матильда уступила мне свою спальню

сказав, что сама будет спать на диване. Я предлагал поступить наоборот, но Матильда объяснила, что Ицци может выйти из своей комнаты и побеспокоить меня. Ее постель состояла из слишком туго набитой подушки и Целого стеганого пуховика. Она принесла мне ночную Рубашку, пахнувшую нафталином, и я заподозрил, что это рубаха Адама Блока. Я скоро заснул, но проснулся от страха. У меня было жуткое чувство, будто кто-то дует мне в ухо. С другой стороны прихожей слышались скрип, шарканье и звук шагов. Я сел и стал слушать. Может быть, в квартире призраки? Как я ни напрягался, я не мог понять, что же за звуки я слышу. Они были слишком громкими для крыс. Мне нужно было в туалет, и после долгих колебаний я вышел в прихожую. Дверь в гостиную была полуоткрыта. При свете красной ночной лампы мать и сын танцевали, оба босиком, он в одном белье, она в ночной рубашке. Я мог разглядеть костлявую шею Ицци, острый кадык, сутулую спину. Мне казалось, что у матери и у сына закрыты глаза. Ни один из них не издавал ни звука, словно они танцевали во сне. Я простоял там по крайней мере десять минут, а возможно, и гораздо дольше. Я отдавал себе отчет в том, что не имею права подсматривать за своими хозяевами, но не мог оторваться. Скорее всего, они вальсировали, хотя я точно не мог бы сказать, что это был за танец. Без музыки, в полной тишине это было похоже на своего рода полночный *танец гнева*. Затаив дыхание, я стоял недоумевая. Может быть, между матерью и сыном кровосмесительная связь? Или они оба лишились рассудка? Возможно, это вовсе не они, а их астральные тела. В те времена я уже начинал примеряться к оккультизму. Один раз мне показалось, что Матильда затрудненно вздохнула, как медиумы, когда они в трансе. Я забыл, зачем поднялся с постели, и на цыпочках вернулся в спальню. Звук шагов и шарканье продолжались еще некоторое время и потом наконец стихли. Вскоре я задремал, хотя боялся, что до утра не сомкну глаз.

Наутро Матильда позвала меня завтракать. Мы сидели за кухонным столом. Она наливала мне кофе и потчевала черствым хлебом с повидлом. При свете газовой лампы она выглядела утомленной, от застывшего ночного крема лицо ее

стало похожим на студень. Пока мы отхлебывали кофе, она жаловалась на дороговизну, на домовладельца, отказавшегося сделать необходимый ремонт.

— Зачем ему делать ремонт? — вопрошала она. Если я съеду, он повысит квартирную плату и к тому же получит задаток.

Этот прозаический разговор звучал странно после того, чему я был свидетелем всего лишь прошедшей ночью. Я спросил ее:

— Как вы спали? Хорошо?

Матильда горестно покачала головой.

— Ничего хорошего теперь со мной не происходит. Ты-то как спал?

— Как убитый.

— Да, ты молод.

— Что вы делаете, когда вам не спится? — спросил я. — Читаете?

Матильда отрицательно покачала головой. Слабая улыбка появилась на ее губах.

— Я танцую.

— И это помогает от бессонницы?

— Мне помогает. Я научилась у Ицци. Он тоже мучается без сна. Как ему заснуть, если он целыми днями лежит в постели и размышляет? Когда-то он мечтал стать танцором, и вот что осталось от его мечтаний.

Я больше никогда не видел Матильду. Вскоре после этого случая я уехал в Америку. Матильда и Ицци погибли в варшавском гетто. Не знаю, какими были их последние дни, но я часто представляю себе, как однажды ночью, когда нацисты бомбили город, когда бушевал огонь и люди бежали в укрытие, мать и сын стали танцевать, и танцевали до тех пор, пока здание не рухнуло и оба, покрытые обломками, не затихли навеки.

Тоскующая телка

1

В те дни мне удавалось находить необыкновенно выгодные предложения среди мелких объявлений в своей газете, печатавшейся на идише. Без этого мне было не обойтись, потому что я зарабатывал меньше двенадцати долларов в неделю — мой гонорар за еженедельную колонку «фактов», которые я выуживал из журналов. Скажем, таких: черепаха может прожить пятьсот лет; гарвардский профессор издал словарь языка, на котором разговаривают шимпанзе; Колумб вовсе не пытался открыть новый путь к Индиям, он искал десять пропавших колен Израилевых.

Это было летом 1938 года. Я жил в меблированной комнате на четвертом этаже дома без лифта. Перед моим окном была глухая стена. И тут я нашел объявление, в котором было сказано: «Комната на ферме с пансионом, десять долларов в неделю». После того как я «навсегда» порвал со своей подругой Дошей, никаких причин оставаться летом в Нью-Йорке у меня не было. Я сложил в большой чемодан свои жалкие пожитки — множество карандашей, а также книг и журналов, из которых я извлекал информацию, и сел в автобус, идущий к горам Катскилл, чтобы добраться до поселка Маунтиндейл. Оттуда я собирался позвонить на ферму. Чемодан мой не закрывался, и я перевязал его множеством шнурков, которые купил у слепых нищих. Мой автобус отправлялся в восемь утра и прибывал в поселок около трех часов пополудни. Из писчебумажного магазина я пытался позвонить на ферму, но не смог дозвониться и зря истратил три монетки. Первый раз я не туда попал, во второй раз в трубке стало свистеть, и свистело несколько минут, в третий раз я, возможно, набрал правильный номер, но никто не подошел. Монеты не вернулись. Я решил взять такси.

Когда я показал шоферу адрес, он нахмурился и ₀ячно

покачал головой. Чуть погодя он сказал: «Кажется, я знаю, где это». И он тотчас с яростной скорого помчался по узкой дороге, на которой было полно ухабов и ям. В объявлении говорилось, что ферма расположена в пяти милях от поселка, но шофер ехал уже полчаса, и мне становилось ясно, что он заблудился. Спросить дорогу было не у кого. Я и вообразить себе не мог, что в штате Нью-Йорк есть такие необитаемые районы. Время от времени мы проезжали мимо сгоревшего дома или силосной башни, по-видимому давным-давно заброшенной. Гостиница, окна которой были заколочены досками, вдруг появлялась ниоткуда и вновь исчезала, как видение. Все заросло травой и кустарником. Стаи ворон кружились и каркали. Счетчик такси щелкал громко и с лихорадочной быстротой. Через каждые несколько секунд я нащупывал в брюках карман с деньгами. Я хотел сказать водителю, что не имею возможности бесцельно кружить по необитаемым вересковым пустошам, но знал, что он станет ругаться. Он может даже бросить меня одного в этой пустыне. Он все время ворчал, и каждые несколько минут я слышал, как он произносит «сукин сын».

Когда, после бесконечных кругов и поворотов, мы прибыли к месту, означенному в адресе, я понял, что допустил ужасную ошибку. Никакой фермы там не было и в помине — лишь старый разрушенный деревянный дом. Я заплатил четыре доллара семьдесят центов за путешествие и тридцать центов дал на чай. Шофер бросил на меня кровожадный взгляд. Едва я успел выхватить свой чемодан, он рванул с места и пулей помчался прочь с самоубийственной скоростью. Никто не вышел мне навстречу. Я услышал, как мычит корова. Обычно корова помычит немного и замолкает, но эта корова мычала без передышки и тоном существа, попавшего в безжалостный капкан. Я отворил дверь в какую- то комнату, в ней были железная плита, незастланная кровать с грязным бельем и прорванный диван. Возле облупившейся стены были свалены мешки с сеном и Фуражом. На столе лежало несколько розоватых яиц с налипшим на них куриным пометом. Из соседней кометы вышла смуглая девица с длинным носом, мясистым Ртом и сердитыми черными глазами, глядевшими из-под густых бровей. Слабый темный пушок пробивался над

ее верхней губой. Она была коротко острижена. Если бы не потрепанная юбка, я бы принял ее за мужчину.

— Что вам надо? — спросила она меня резким голосом.

Я показал ей объявление. Она едва взглянула на газету и сказала:

— Отец ненормальный. У нас нет никаких комнат и никакого пансиона, во всяком случае не за такие деньги.

— Сколько же вы хотите?

— Нам не нужны пансионеры. Некому на них готовить.

— Почему корова все время мычит? — спросил я.

Девица смерила меня взглядом с головы до ног.

— Не ваше дело.

Вошла какая-то женщина, которой могло быть пятьдесят пять, шестьдесят или шестьдесят пять лет. Она была низкой, широкой, одно плечо выше другого, с огромной грудью, свисавшей до живота. На ней были стоптанные мужские шлепанцы, а голова была повязана платком. Под косо надетой юбкой виднелись ноги с варикозными венами. Хотя был жаркий летний день, на ней был рваный свитер. Ее раскосые глаза были разрезаны по-восточному. Она вглядывалась в меня с лукавым удовлетворением, словно мое появление здесь было следствием какого-то розыгрыша.

— По газете, что ли? По газете?

— По газете.

— Скажите мужу, пусть он морочит голову себе, а не другим. Нам не нужны пансионеры. Они нужны нам, как дырка в голове.

— Ия ему о том же,— вставила девица.

— Простите, но я приехал сюда на такси, а теперь оно уже в поселке. Можно мне хотя бы переночевать?

— Переночевать-то? У нас нет ни постели, ни белья. Ничего нет,— сказала женщина.— Хотите, я вызову вам другое такси? У мужа не все дома, и все, что он делает, он делает нам назло. Затащил нас сюда. Хочет быть фермером. Кругом на много миль нет ни магазина, ни гостиницы, откуда мне взять сил на вас готовить. Мы сами едим одни консервы.

Корова все еще мычала, и, хоть девица только что ответила мне весьма недоброжелательно, я не удержался и спросил:

— Что с коровой?

Женщина подмигнула девице.

— Ей нужен бык.

В этот момент вошел сам фермер, такой же маленький и ширококостный, как и его жена, в заплатанном комбинезоне, в кацавейке, напомнившей мне Польшу и в шапке, сдвинутой на затылок. На его загорелых деках росла белая щетина. Нос был весь в прожилках, у него был дряблый двойной подбородок. Он принес с собой запахи навоза, парного молока и только что перекопанной земли. В одной руке он держал лопату, а в другой палку. Его глаза под лохматыми бровями были желтыми. Увидев меня, он спросил:

— По газете, что ли?

— По газете.

— Отчего ж вы не позвонили? Я запряг бы лошадь и встретил вас на бричке.

— Сэм, не морочь голову молодому человеку,— перебила его жена.— У нас нет для него белья, некому готовить, и что такое десять долларов в неделю? Себе дороже.

— Это мое дело,— ответил фермер.— Я давал объявление, а не вы, мне и отвечать. Молодой человек,— возвысил он голос,— я здесь хозяин, а не они. Это мой дом и моя земля. Все, что вы здесь видите, принадлежит мне. Вам бы следовало прислать открытку или позвонить, но раз вы уже здесь — вы желанный гость.

— Простите, но ваша жена и ваша дочь...

Фермер не дал мне докончить.

— Все, что они наговорили, не стоит грязи у меня под ногтями (он продемонстрировал мне руку с перепачканными пальцами). Я буду убирать вашу комнату, стелить постель, готовить еду и обеспечивать вас всем необходимым. Если вам будут приходить письма, я буду привозить их из поселка. Я езжу туда чуть не каждый день.

— Пока что, может быть, вы разрешите мне переночевать здесь сегодня? Я устал с дороги и...

— Будьте как дома. Они и не пикнут.— Фермер указал на домочадцев.

Я уже сообразил, что попал во вздорное семейство, и не собирался становиться жертвой их раздоров. Фермер продолжал:

— Пойдемте, я покажу вашу комнату.

— Сэм, этот молодой человек здесь не останется,- сказала жена.

— Он останется здесь, он будет сыт и доволен,- ответил фермер,— и, если тебе это не по нраву, убирайся обратно на Орчард-стрит вместе со своей дочкой. Паразиты, свиньи, паскуды!

Фермер поставил лопату и палку в угол, схватил мой чемодан и вышел из дома. У моей комнаты был отдельный вход со своей лестницей. Я увидел огромное поле заросшее сорняками. Возле дома был колодец и нечто вроде сарая, как в польском местечке. Заляпанная грязью лошадь щипала редкую траву. Дальше был коровник, и из него доносился печальный вопль животного, который ни разу не прерывался все это время. Я сказал фермеру:

— Если у вашей коровы течка, отчего не дать ей того, что ей нужно?

— Кто вам сказал, что у нее течка? Это телка, я только что купил ее. Ее взяли из коровника, где было еще тридцать коров, она скучает по ним. Скорее всего, у нее там мать или сестра.

— Я никогда не видел, чтобы животное так тосковало по своим родным.

— Разные бывают животные. Но она успокоится. Не будет же она мычать вечно.

2

Ступени, ведущие в мою комнату, скрипели. Держаться приходилось за толстую веревку, натянутую вместо перил. В комнате пахло гниющим деревом и жидкостью от клопов. На кровати лежал покрытый пятнами, комковатый матрас, из дыр которого торчали внутренности. Снаружи было не особенно жарко, но в комнате зной немедленно начал отдаваться у меня в висках, я взмок от пота. Ничего, одну ночь я здесь переживу, утешал я себя. Фермер поставил мой чемодан и пошел за бельем. Он принес подушку в рваной наволочке, грубую простыню с ржавыми пятнами и ватное одеяло без пододеяльника. Он сказал:

— Сейчас тепло, но, как только сядет солнце, наступит восхитительная прохлада, а позже вам придется укрыться.

— Не беспокойтесь за меня.

— Вы из Нью-Йорка? — спросил он меня.

— Да, из Нью-Йорка.

— Судя по вашему акценту, вы родом из Польши, из каких мест?

Я назвал местечко, где родился, и Сэм сообщил мне, что он родом из соседнего местечка. Он сказал:

— На самом деле я не фермер. Это наше второе лето за городом. С тех пор как я приехал из Польши, я был гладильщиком в Нью-Йорке. Я ворочал этим тяжелым утюгом, пока не заработал грыжу. Я всегда мечтал о свежем воздухе и, как говорится, о земле-матушке — о свежих овощах, о свеженьком яичке, зеленой траве. Я стал искать что-нибудь подходящее в газетах и вот наткнулся на фантастически выгодное предложение. Я купил ферму у того же человека, который продал мне телку. Он живет в трех милях отсюда. Прекрасный человек, хоть и гой. Его звать Паркер, Джон Паркер. Он дал мне закладную и все устроил, вот только дом старый и земля завалена камнями. Он и не пытался, Боже упаси, надуть меня. Он мне заранее обо всем рассказал. На то, чтобы убрать камни, потребуется двадцать лет. А я не так уж молод. Мне уже за семьдесят.

— Вы выглядите моложе,— сделал я ему комплимент.

— Это все воздух и работа. Я много работал в Нью-Йорке, но только здесь стал работать по-настоящему. Там у нас был профсоюз, да продлятся его дни, и он не позволял боссам превращать нас в рабов, как евреев в Египте. Когда я приехал в Америку, здесь еще существовала потогонная система, но потом стало легче. Я отрабатывал свои восемь часов и ехал на подземке домой. Здесь я тружусь по восемнадцать часов в сутки, и, поверьте мне, если бы не пенсия от союза, мне бы не свести концы с концами. Но я доволен. Что нам здесь нужно? У нас свои помидоры, редиска, огурцы. Корова, лошадь, куры. От одного воздуха здоровеешь. Но как это сказано у Раши* — Иаков хотел вкушать мир, но бедствия Иосифа не дали ему вкусить мира. Да, я тоже изучал Писание, до семнадцати лет я сидел в доме Учения и занимался. И зачем я вам все это рассказываю?

---

* Аббревиатура: рабби Шломо Ицхаки (1040—1105) — комментатор Талмуда.

Моей жене Бесси не по душе сельская местность. Она скучает по дешевым товарам на Орчард-стрит и по своим закадычным подружкам, с которыми она болтала чепуху и играла в карты. Она объявила мне войну. И какую войну! Она бастует. Не стряпает, не печет хлеб не прибирается в доме. Она отказывается пальцем пошевелить, и я все делаю сам — сам дою корову, сам копаюсь в саду, сам убираю сарай. Мне не стоило бы вам этого говорить, но она отказывается быть женой. Она желает, чтобы я перебрался обратно в Нью-Йорк. А что мне делать в Нью-Йорке? Мы оставили квартиру с гарантированной квартплатой и избавились от мебели. Здесь у нас все-таки что-то вроде дома...

— А что ваша дочь?

— Сильвия пошла в мать. Ей уже за тридцать и давно пора замуж, но она вовсе не желает устраиваться в этой жизни. Мы пытались отдать ее в колледж, но она не хочет учиться. Она устраивалась на разные работы, но так и не прижилась ни на одной. У нее неплохая голова, но заднее место никуда не годится. Все ее утомляет. Она встречалась со всякими мужчинами, но из этого так ничего и не вышло. Как только она с кем встретится, сейчас начинает выискивать в нем недостатки. Один такой, другой сякой. Последние восемь месяцев она живет с нами на ферме, но вы ошибаетесь, если думаете, что она мне изо всех сил помогает. Она играет в карты со своей матерью. Больше ничего не делает. Вы не поверите, но моя жена до сих пор не распаковала своих вещей. У нее Бог весть сколько платьев и юбок, но все увязано в узлы, как после пожара. У дочки тоже полно тряпок, но и она держит их в чемодане. И все это — мне назло. Вот я и решил — пусть здесь поселятся люди. Чтобы мне было с кем поговорить. У нас еще две комнаты, которые можно сдать. Я не собираюсь разбогатеть, предлагая комнату и трехразовое питание в день за десять долларов в неделю. Я не лезу в рокфеллеры. А вы чем занимаетесь? Преподаете, наверное?

После некоторого колебания я решил сказать ему правду — пишу, мол, для газеты на идише как внештатный сотрудник. Глаза фермера сразу загорелись.

— Как ваше имя? Что вы там пишете?

— Я веду рубрику «Куча фактов».

Фермер всплеснул руками и притопнул ногой.

— Вы автор «Кучи фактов»?

— Да, я.

— Господи! Я же читаю вас каждую неделю. Я специально езжу в поселок по пятницам за газетой, и вы не поверите, но я читаю «Кучу фактов» даже прежде новостей. Все новости скверные. Гитлер то, Гитлер сё. Гори он огнем, пройдоха, негодяй. Что ему надо от евреев? Разве они виноваты, что Германия проиграла войну? От одного чтения этих новостей может хватить удар. А вот ваши факты — это знание, наука. Это правда, что у мухи тысяча глаз?

— Правда.

— Как это возможно? Зачем мухе столько глаз?

— Должно быть, природе все под силу.

— Если вы хотите видеть природу во всей красе, оставайтесь здесь. Подождите минутку. Я должен пойти сказать жене, кто у нас в гостях.

— Зачем? Я все равно здесь не останусь.

— О чем вы говорите? Почему? Они сварливые бабы, но, когда они узнают, кто вы такой, они будут вне себя от радости. Моя жена тоже вас читает. Она рвет газету у меня из рук, потому что хочет первой прочесть «Кучу фактов». И дочка знает идиш. Она говорила на идише, еще когда не знала ни слова по-английски. С нами она почти всегда говорит на идише, потому что...

Фермер опрометью бросился из комнаты. Его тяжелые сапоги прогрохотали по лестнице. Телка продолжала мычать. В ее голосе звучало безумие и какой-то почти человеческий протест. Я сел на матрас и повесил голову. Последнее время я делал глупость за глупостью. По-дурацки поссорился с Дошей, истратил деньги, чтобы добраться сюда, а завтра мне снова придется платить за такси и автобус, чтобы вернуться в Нью-Йорк. Я начал писать роман, но увяз в нем и теперь даже не мог разобрать свой собственный почерк. Пока я сидел в этой комнате, меня насквозь пропекло зноем. Если бы только можно было чем-нибудь занавесить окно! Эти телкины стенанья сводили меня с ума. Мне слышалась в них скорбь всего сущего. Все мироздание выражало свой протест голосом этой телки. Дикая мысль промелькнула у меня в голове: не пойти ли мне ночью и не убить ли нерва телку, а

потом себя. Такого рода убийство с последующим самоубийством будет чем-то новым в истории человечества.

Я услышал тяжелые шаги по лестнице. Фермер привел жену. Тут они стали извиняться и незаслуженно расхваливать меня, как это принято у простых людей при встрече с любимым писателем. Бесси воскликнула:

— Сэм, я должна его поцеловать!

И прежде чем я успел вымолвить слово, женщина поймала мое лицо своими шершавыми руками, от которых пахло луком, чесноком и потом.

Фермер благодушно произнес:

— Чужих людей она целует, а меня заставляет поститься.

— Ты сумасшедший, а он ученый, он больше чем профессор.

Все это длилось не более минуты, и тут в комнату поднялась дочь. Она стояла в дверном проеме и с легкой усмешкой глядела, как родители суетятся вокруг меня. Чуть погодя она сказала:

— Если я обидела вас, простите меня. Отец привез нас в эту дыру. У нас нет машины, а лошадь того гляди подохнет, а тут еще откуда ни возьмись с неба падает человек с чемоданом и желает узнать, отчего кричит наша телка. Ну не смешно ли?

Сэм стиснул руки с видом человека, собирающегося объявить нечто удивительное. Его глаза смеялись.

— Если вы так жалеете животных, я верну телку хозяину. Мы обойдемся без нее. Пусть возвращается к матери, по которой она томится.

Бесси склонила голову набок:

— Джон Паркер не отдаст тебе денег.

— Если он не отдаст всю цену, он отдаст на десять долларов меньше. Это здоровая телка.

— Я плачу разницу,— сказал я, поразившись собственным словам.

— Что? Не судиться же нам из-за телки,— сказал фермер.— Я хочу, чтобы этот человек жил в моем доме все лето. Ему не нужно ничего мне платить. Для меня это честь и радость.

— Он и впрямь сумасшедший! Нужна нам эта телка, как дырка в голове.

Я видел, что благодаря мне муж и жена того гляди помирятся.

— Если вы и вправду хотите ее вернуть, чего ждать? — спросил я.— Животное может умереть от тоски, и тогда...

— Он прав,— провозгласил фермер.— Я отведу телку прямо сейчас, сию минуту.

Все замолчали. Как будто почувствовав, что в эту минуту решается ее судьба, телка издала вопль, заставивший меня содрогнуться. Это выла не телка, это выл дибук*.

3

Как только Сэм вошел в коровник, телка успокоилась. Это была черная телка с большими ушами и огромными черными глазами, выражавшими мудрость, которой обладают только животные. Ничто в ней не свидетельствовало о том, что она так много часов подряд агонизировала. Сэм накинул ей на шею веревку, и телка охотно пошла за ним. Я шел следом рядом с Бесси. Дочь, стоявшая перед домом, сказала:

— И вправду, я бы не поверила во все эти чудеса, если бы не видела их своими глазами.

Мы шли и шли, и телка не издавала ни звука. Казалось, она знает дорогу, потому что то и дело принималась бежать, и Сэму приходилось удерживать ее. Между тем муж и жена препирались при мне так же, как препирались мужья и жены, приходя ко двору моего отца на Суд Торы. Бесси говорила:

— Эта развалина пустовала сто лет, и никто даже не взглянул на нее. Думаю, и даром-то ее никто бы не взял. И вдруг является мой муж и заключает сделку. Как говорится: «Дурак приходит на базар, торговцы рады».

— И далась тебе эта Орчард-стрит? Воздух зловонный. С самого утра — шум и грохот. Нашу квартиру грабили со взломом. А здесь даже не нужно запирать дверь. Мы можем уехать на несколько дней или недель, и никто ничего не тронет.

— Какой вор потащится в этакое захолустье? — спрашивала Бесси.— И что ему взять? Американские воры

---

* Злой дух, который вселяется в человека, овладевает его душой, говорит устами своей жертвы, но тем не менее не сливается с ней, сохраняя самостоятельность.

разборчивы. Им подавай деньги или бриллианты.

— Вот увидишь, Бесси, здесь ты проживешь на двадцать лет дольше.

— Кому охота так долго жить? Когда проходит день я благодарю Господа.

Часа через полтора я увидел ферму Джона Паркера — дом, амбар. Телка снова пыталась побежать, и Сэму пришлось удерживать ее изо всех сил. Джон Паркер косил траву изогнутой косой. Это был высокий, белокурый, худой англосакс. Он поднял глаза и удивился, но со спокойствием человека, которого не так-то легко поразить. Мне даже показалось, что он улыбнулся. Мы достигли выгона, где паслись другие коровы, телка разбуянилась и вырвалась из рук Сэма. Она побежала вприпрыжку все еще с веревкой на шее, и несколько коров, медленно подняв головы, смотрели на нее, а остальные продолжали щипать траву, как будто ничего не произошло. Меньше чем через минуту телка сама щипала траву. После таких страстей я ожидал, что встреча матери со своей телкой будет более драматичной. Я ожидал ласк, тыканий носом или каких-нибудь еще традиционных для коров выражений материнской любви к пропавшей дочери. Но оказалось, что у скотины не принято приветствовать друг друга таким образом. Сэм стал объяснять Джону Паркеру происходящее, и Бесси тоже вступила в разговор. Сэм говорил:

— Этот молодой человек — писатель, я читаю его статьи каждую неделю, и он намерен погостить у нас. Как у всех писателей, у него мягкое сердце. Он не мог вынести страданий телки. Мы с женой в восторге от каждой его строчки. Когда он сказал, что телка может помешать его размышлениям, я решил — будь что будет. И привел обратно телку. Я готов потерять столько, сколько вы скажете.

— Вы ничего не потеряете, это хорошая телка,— сказал Джон Паркер.— Что вы пишете? — спросил он меня.

— О, я собираю факты для газеты на идише. Кроме того, я пытаюсь написать роман,— прихвастнул я.

Он заметил:

— Когда-то я был членом читательского клуба, но мне присылали слишком много книг, а времени читать не было. На ферме ты вечно занят, но я все же получаю «Сатердей

ивнинг пост» — у меня целые кипы этой газеты.

— Я знаю, эту газету основал Бенджамин Франклин,— старался я показать свои познания в американкой литературе.

— Пойдемте в дом, выпьем.

Появилось семейство Паркера. Его жена, темноволосая, коротко стриженная женщина, показалась мне похожей на итальянку. У нее был мясистый нос и острые черные глаза. Одета она была по-городскому. Нальчик был таким же белокурым, как отец, девочка, как мать, походила на уроженцев Средиземноморья. Появился еще один человек. Должно быть, это был работник. Две собаки выскочили откуда-то и, немного полаяв, стали вилять хвостами и тереться о мои ноги. Сэм и Бесси вновь пытались объяснить причину своего визита, а жена фермера внимательно разглядывала меня, отчасти удивленно, отчасти насмешливо. Она пригласила нас в дом, где вскоре была откупорена бутылка виски, и мы чокнулись. Миссис Паркер говорила:

— Когда я приехала сюда из Нью-Йорка, я так скучала по городу, что чуть не умерла. Но я не телка, и никому не было дела до моих чувств. Мне было так одиноко, что я пыталась писать, хоть я и не писательница. У меня до сих пор где-то валяется несколько тетрадок, но я сама не помню, что в них писала.

Женщина глядела на меня нерешительно и застенчиво. Я уже точно знал, о чем она хочет меня попросить, и сказал:

— Можно мне посмотреть их?

— Зачем? У меня нет литературного дарования. Это что-то вроде дневника. Заметки о пережитом.

— Если вы не возражаете, я бы прочел их не здесь, а на ферме у Сэма.

У женщины загорелись глаза:

— Почему я должна возражать? Но только, пожалуйста, не смейтесь надо мной, когда будете читать мои излияния.

Она отправилась искать свою рукопись, а Джон Паркер выдвинул ящик комода и отсчитал деньги за телку. Мужчины стали торговаться. Сэм предлагал взять на несколько долларов меньше, чем он заплатил. Джон Паркер не хотел и слышать об этом. Я вновь вызвался покрыть разницу, но оба фермера укоризненно посмотрели на меня и сказали, что это их забота. Немного погодя миссис Паркер принесла мне

пачку тетрадей в старом коричневом конверте, от которого пахло нафталином Мы распростились, и я записал номер их телефона. Когда мы шли обратно, солнце уже село и в небе светили звезды. Давно я не видел такого звездного неба. Оно нависало низко — устрашающее и все же торжественно праздничное. Оно напомнило мне праздник Рош Ашана*. Я поднялся в свою комнату — и не поверил своим глазам: Сильвия сменила белье на моей постели — простыня побелей, на одеяле ни пятнышка и наволочка почище. Она даже повесила какую-то картинку с ветряной мельницей.

В этот вечер я ужинал вместе с семейством. Бесси и Сильвия задавали мне много вопросов, так что пришлось рассказать им о Доше и о нашей недавней ссоре. Мать с дочерью желали знать причину ссоры, и, когда я рассказал им, обе рассмеялись.

— Нельзя, чтобы из-за такой глупости погибла любовь,— сказала Бесси.

— Боюсь, теперь уже слишком поздно.

— Позвони ей сейчас же,— приказала Бесси.

Я дал номер Сильвии. Она повернула ручку телефона, висевшего на стене. Потом стала так кричать в трубку, как будто женщина на коммутаторе была глухой. Возможно, та и впрямь была глухой. Немного погодя Сильвия сказала:

— Твоя Доша у телефона,— и подмигнула.

Я сказал Доше о моем предприятии и о телке. Доша сказала:

— Это я — телка.

— То есть как?

— Я все время звала тебя.

— Доша, может быть, ты приедешь сюда? В доме есть еще одна комната. Хозяева — добрые люди, я уже чувствую себя здесь как дома.

— Да? Дай мне адрес и телефон. Возможно, я приеду на неделе.

Около десяти часов Сэм и Бесси отправились спать. Они пожелали мне спокойной ночи с веселым предвкушением молодоженов. Сильвия предложила пройтись.

Луны не было, но летом — светлые ночи. Светлячки

---

* Буквально – голова (начало) года, празднуется первого и второго числа месяца Тишри (октябрь). День Всеобщего Божьего суда.

зажглись в зарослях. Лягушки квакали, цикады звенели. Ночь сыпала звездами. Я мог различить белесую светящуюся ленту Млечного Пути. Небо, как и земля, не пало покоя. Оно тосковало своей космической тоской о чём-то таком, чего можно было достичь лишь через несметное число световых лет. Хотя Сильвия только что помогала мне мириться с Дошей, она взяла меня за руку. Ночной свет делал ее лицо женственным, и из ее черных глаз сыпались золотые искры. Мы остановились посреди грунтовой дороги и стали жарко целоваться, как будто дожидались друг друга Бог весть как долго. Ее большой рот впился в меня, как будто в меня уткнулось мордой какое-то животное. Зной от ее тела обжигал мою кожу, но совсем не так, как зной от раскаленной крыши несколько часов назад. Я услышал какой-то звук, похожий на гул трубы, загадочный и неземной, как будто небесная телка в далеком созвездии проснулась, и стала выть, и будет теперь выть не стихая, пока вся вселенная не освободится от грехов через искупление.

Ее сын

Как-то вскоре после того, как я приехал в Нью-Йорк, один поэт пригласил меня пообедать в кафе «Шолом». Среди авторов, писавших на идише, он слыл денди, циником и бабником. Жена у него была такая толстая, что едва проходила в дверь — во всяком случае мне так говорили. Она заедала страдания, которые испытывала из-за любовных похождений мужа. Хотя ему было около семидесяти, его волосы все еще оставались светло-золотыми. У него были синие глаза, высокий лоб, а нос и подбородок создавали впечатление житейской умудренности. Он был в английском костюме и курил гаванскую сигару. На нем была сорочка в красную и серую полоску и галстук, расшитый золотом. На пальце — кольцо с бриллиантом, а в манжетах — запонки с монограммой. Меня поразило его сходство с Оскаром Уайльдом. Он и писал, как Оскар Уайльд,— парадоксально и афористично. Мне было двадцать девять, я только что приехал из Варшавы, и он говорил со мной как опытный писатель с новичком, давая мне советы. Он говорил:

— Ты похож на ученика ешивы, но из твоих писаний видно, что ты знаешь толк в женщинах.

Дверь кафе отворилась, пропустив какого-то человека в мятой шляпе. Лицо его было бледным и небритым, глаза казались воспаленными, сонными — в них было уныние подавленности. Он подошел прямо к нашему столику. Не говоря ни слова, угощавший меня — я буду называть его Макс Блиндер — достал бумажник, вынул из него чек и протянул подошедшему.

— Ну как, Билл, у тебя что-нибудь прояснилось?

— Чем дальше, тем хуже,— проворчал человек.

— Ссуда не помогла?

— Мне больше ничего не поможет.

Он говорил на идише с американским акцентом. Хотя сворил он тихо, в голосе слышался сдавленный визг, отражение горечи кривило его губы. Одно плечо было выше

другого. Его дешевый галстук сбился набок. На пальто недоставало пуговицы. Издали казалось, что ему дет пятьдесят, но вблизи я увидел, что он гораздо моложе.

— Ладно, я пойду,— сказал он.

— Может быть, выпьешь с нами кофе? Этот молодой человек...

— Мне надо идти!

— Куда?

— Целовать кому-нибудь задницу, чтобы добыть сотню долларов на закладную. Если я не достану эту сотню, у меня отнимут дом, и я кончу тем, что окажусь на улице со всей семьей.

Макс Блиндер закусил губу.

— Погоди. Я дам тебе эти сто долларов, и тебе не придется целовать ничьих задниц.

— Мне уже все равно.

Макс Блиндер открыл бумажник и отсчитал сто долларов. Он покачал головой и подмигнул мне. Билл сгреб деньги, промямлил что-то вроде «до свидания» и ушел. На меня он так и не взглянул.

— Ваш родственник? — спросил я.

Макс Блиндер улыбнулся, показав полный рот вставных зубов.

— Сын, хотя и не мой. Он взял меня себе в отцы и имел на это право. Но откуда он знал, что имеет право? Я расскажу тебе эту историю, если хочешь. Клянусь бородой Асмодея, я никогда не рассказывал ее прежде. Я сам хотел написать об этом, но я поэт, а не прозаик. Погоди, я закажу еще блинчиков. Давай проведем этот день вместе.

— С удовольствием.

— Вот только закурю.— Он достал сигару и покатал ее между пальцами.— Я буду краток, насколько возможно,— сказал он.— Сорок лет назад у меня была любовница, и это была самая большая любовь в моей жизни. Вот уже тридцать семь лет как она мертва, но не проходит и дня, чтобы я не думал о ней. Можно даже сказать — ни часа. Были у меня и другие бурные романы. Я и на старости лет в этой ерунде вот по сих пор,— он провел пальцем по горлу,— но ни одна женщина не стала для меня тем, чем была она, и ни одна не станет впредь. У нее был муж — кому ж еще у нее быть? И не просто муж, а муж, любивший ее с дикой страстью. А она ненавидела его так же сильно, как он ее любил. Ее звали Соня — самое заурядное имя, какое только может быть у девушки из России. И ничего особенного во внешности — обычные темные глаза, черные косы — все, что

превозносится до небес в романах на идише. Но когда я встретил ее на заседании шидловского землячества — родители моей матери родом из Шидлова — и поговорил с ней несколько минут, я почувствовал что отчаянно влюбился, и поверь мне, слово «отчаянье» в данном случае вовсе не преувеличение. Я почувствовал жар во всем теле, и, главное, мне стало ясно, что с ней творится то же самое. Мы смертельно испугалась друг друга и того, что начиналось между нами. Ее муж сидел там — на сцене, он был председателем этого землячества и стучал молотком, успокаивая толпу. Я забыл сказать тебе самое главное — она была на двенадцать лет старше меня, и у нее было четверо детей. Все девочки. Они жили на авеню С в центре города, и муж был, слава Богу, коммивояжером. Он торговал текстилем и часто ездил в Фолл-Ривер, Массачусетс,— это своего рода американская Лодзь. Его звали Хацкель Валлах.

Соня была по-своему интеллигентной. Она читала «Санина» Арцыбашева и могла прочесть наизусть несколько страниц из «Евгения Онегина». Пыталась писать стихи на идише. Когда муж был в отъезде, она бывала в опере. Она читала брошюры социалистов. Хацкелю Валлаху была ненавистна ее светскость, но в то же время и восхищала. У него были огромный нос, выпученные глаза голема* и глотка как у быка. Он не мог просто разговаривать — мог только кричать. Соня рассказывала мне, что он кричит даже с ней в постели. Он получал глупое удовольствие, возглавляя шидловское землячество. На собраниях они говорили только об одном — о кладбище. Он присутствовал на похоронах каждого умершего члена землячества. Для этого деревенщины смерть была лишь поводом попредседательствовать, обожраться кнышами и выпить за общественный счет.

Он смыслил в сексе и в любви не больше, чем евнух. Соня говорила мне, что за все годы, проведенные вместе, он ни разу не удовлетворил ее. Она стала мечтать о любовнике сразу после свадьбы, но по существу была скромной провинциалкой, хотя в минуты страсти у нее вырывались слова, которые смогли бы удивить маркиза де Сада.

Наша связь началась с первой же встречи. Соня сказала, что ей жарко, и я повел ее на Хьюстон-стрит есть мороженое. Спускаясь по лестнице, мы стали целоваться и кусаться, как сумасшедшие, а к тому времени, как добрались до кафе-

---

* Буквально — комок, неоформленное, неготовое. Оживляемый магическими средствами глиняный великан.

мороженого, уже решили вместе бежать в Калифорнию или в Европу.

Иные пожары возникают стихийно. Может быть, ты слышал о пожаре в Трайнгл-билдинг? За несколько минут десятки, а может быть, сотни работниц сгорели там живьем. Пагубное пламя не нужно разжигать.

Я не ученый, но кое-что читал по науке. Я знаю эти теории и всю эту болтовню об эволюции. Все это сплошная ложь. Вселенная произошла мгновенно. Сам Бог, если Он существует, просто стал. Ничего не было. И вдруг стало все — Бог, мир, жизнь, любовь, смерть. А вот и наши блинчики.

— Эти блинчики не явились внезапно,— заметил я.

— Что? Во всяком случае, не в кафе «Шолом». Если бы здешний повар был Творцом, мы все еще оставались бы в пределах Книги Бытия.

Мы стали есть блинчики, и Макс продолжал:

— Все разговоры о бегстве ни к чему не привели. Какая мать убежит от четырех детей? Началась извечная игра в обман. Когда Хацкель бывал в отъезде, ничто нас не могло остановить. Она приходила ко мне в какую-нибудь гостиницу или в меблированную комнату, которую я снимал. В то время я был женат, но у меня не было детей. Когда же Хацкель оставался в городе, тоща нам действительно приходилось туго. Он ни на секунду не отпускал ее от себя. Он не умел писать и считать, так что она была ему за секретаршу. Кроме того он требовал, чтобы она готовила его любимые блюда — фаршированную шейку, жирные супы и еще черт знает что. Она ускользала на часок, и мы набрасывались друг на друга, страшно изголодавшись. Она рассказывала мне какие-то непонятные истории. У нее бывали самые причудливые сны и видения — уж не знаю, как назвать — сны наяву. Что до меня — рядом с ней я становился настоящим гигантом. Обычно в любовных связях со временем наступает охлаждение, но наша связь становилась с годами лишь прочнее, а такие связи добром не кончаются.

Моя жена прознала, что я люблю другую — к моим мелким интрижкам она научилась относиться снисходительно,— и употребляла все средства, доступные жене, чтобы оторвать меня от Сони. Она взяла в дом дочь

своей сестры — молоденькую девушку девятнадцати лет — и пыталась совратить ее мне на потребу. Если бы это случилось не со мной, я бы никогда не поверил, как далеко может зайти ревнивая женщина. Она грозила мне неверностью, но тот, кто изменяет обходится без угроз. Она была из тех женщин, у которых может быть только один мужчина. Связано ли это с биологией или с неким самогипнозом, я не знаю. Гипноз сам по себе связан с биологией. Вся история человечества есть история гипноза.

К чему размазывать? Сонин муж узнал про нас. Когда мне стало известно об этом, я до смерти испугался. Он мог убить меня одним ударом. У него были лапы, как у извозчика. Я вовсе не герой, и смерть в романтическом эпизоде никогда не была моим идеалом. Я был так напуган, что на время оставил город.

Соня звонила мне и рассказывала, сколько горя он ей причиняет. Он перебил всю посуду в доме. Он бил Соню. Он терроризировал детей. Он сообщил членам землячества о нашей связи. Но по какой-то причине, неясной мне по сей день, он никогда не пытался отомстить мне. Он даже не позвонил моей жене — этого уж по крайней мере следовало ожидать. Возможно, он считал всех писателей мошенниками и полагал ниже своего достоинства связываться с ними. Так или иначе, никогда в точности не скажешь, что происходит в чужой голове. Человек, повидавший с мое, знает, что психология никакая не наука и никогда наукой не станет.

Он использовал другой метод — он постарался, чтобы Соня забеременела и у нее не осталось времени на связь. После рождения четвертой дочери они стали каким-то образом регулировать рождаемость. Но теперь он настаивал на том, чтобы она родила еще одного ребенка. Соне было за сорок, и она не верила, что все ещё в состоянии забеременеть, однако забеременела и родила этого малого, которого ты сейчас видел. Это её сын. Я знаю, о чем ты думаешь. Нет, он не от меня. Он похож на своего отца, хотя его папаша был здоровяк, а этот хилый. Кстати сказать, подозреваю, что я бесплоден. Так или иначе, Соня забеременела, и это была самая тяжелая беременность из тех, что мне доводилось видеть. Когда она была на шестом месяце, казалось, что на девятом. Она пожелтела, словно у нее разлилась желчь. Он

изнасиловал ее физически и духовно. Мы с нею были уверены, что она умрет во время родов. Нам удалось встретиться всего несколько раз, и каждый раз она говорила только о смерти. Она взяла с меня слово, что, когда придет мой час, я буду похоронен рядом с ней. К несчастью, мне не удастся сдержать слово. Там уже лежит Хацкель, рядом с ней. Кладбище так забито ландслейтами* из Шидлова, что мне придется искать могилу в другом месте.

Нет, она не умерла при родах. Она прожила еще около двух лет, но это было медленным умиранием. Муж опять сделал ее беременной, и на этот раз она выкинула. Не буду входить в подробности. С того дня, как я узнал, что она беременна, все физические отношения между нами прекратились. У нас не было ни желания, ни возможности. Я мог стать виновником ее смерти, и сознание вины было настолько глубоким, что не оставляло места ни для каких иных чувств. К тому же я стал бояться, что и мой конец близок. Я пришел навестить Соню к ней домой, когда она была при смерти, и Соня сказала мне: «Не забывай Вельвела». Такое вот имечко дал отец этому малому. Позднее Вельвел превратился в Билла.

Мне никогда не нравился этот ребенок. Во-первых, он убил Соню, хотя и не своей охотой. Во-вторых, в нем было что-то от отцовского характера, хотя вовсе не было отцовской силы... Через год после смерти Сони Хацкель вновь женился и переехал в Бруклин. Когда минули годы мучительных угрызений совести, прежнее пламя вновь вспыхнуло. Мне удавалось быть с другими женщинами, только если я воображал или заставлял себя вообразить на их месте ее. В минуты близости я называл их Соней. Многие годы меня мучила галлюцинации. Я видел Соню идущей по улице, едущей в подземке. Однажды я увидел ее в Центральном парке. Я забыл, что она мертва, и заговорил с ней, но она исчезла прямо у меня на глазах. Соня завещала мне связку своих стихов, посвященных мне. Стоит ли объяснять, что это не была поэзия в обычном смысле слова, но стихи были так искренни, что обладали подлинной силой. Исчерпывающая искренность граничит со всемогуществом

---

* Ландслейт – земляк.

природы.

Я читаю эти стихи по сей день. Я знаю их наизусть. Несколько стихотворений посвящено Вельвелу, которой она называла Вениамином и Бенони в честь сына праматери Рахили. Соня любила Священное писание. У неё был перевод Библии на идише, изданный христианскими миссионерами. В своих стихах она называла Вельвела «твой сын», поскольку я был причиной его появления на свет. Это что-то вроде духовного отцовства.

Шли годы, но я так и не встретился с Сониными детьми. При жизни Соня говорила мне, что девочки, по крайней мере две старшие, прокляли мое имя. Хацкель рассказал все своим детям и внушил им ненависть ко мне. Это из-за меня у них была мачеха. Романтические страсти, которые столь возвышенно превозносят поэты, на самом деле разрушают жизни. То, что мы теперь называем любовью, наши благочестивые предки считали преступлением, ведь так оно и есть. Если бы такого рода любовь была подлинной добродетелью, современный человек не обожествлял бы ее так. Такая любовь совершенно противоположна свободной воле — она есть предельное выражение гипноза и фатализма. Наши богобоязненные матери и отцы вели благочестивую жизнь без этого рабства, и поверь мне, они с большей готовностью приходили друг другу на помощь, чем люди, вовлеченные в любовные связи, не исключая и меня. В большинстве случаев современная любовь есть чистейшей воды предательство. Часто это еще и ненависть.

Да, годы шли, а я ничего не слышал о Хацкеле. Он был лет на двадцать старше меня. Потом я узнал, что он умер — скорей всего, от обжорства. Однажды зазвонил телефон. Это был его сын. Он сказал: «Меня зовут Билл — Вельвел. Я Сонин сын».

Его тон не понравился мне. Уже тогда я мог расслышать в нем упрек. Тем не менее я договорился с Вельвелом о встрече. Он рассказал мне, что три его сестры вышли замуж. Младшая уехала в Англию. После смерти Хацкеля семья распалась, как и всякая семья. Билл перечислил мне целую кучу своих бед. При жизни его мучил отец. Сестры одновременно баловали и ненавидели его. Он не закончил среднюю школу. Он перепробовал много работ, но в каждом

месте от него карались избавиться. Он нуждался в деньгах. Он глядел на меня так, как сын глядит на отдалившегося отца. Он не просил, он требовал. Все в нем раздражало меня, и мне хотелось сказать ему: «Я ничего тебе не должен, ступай себе». Вместо этого я отдал ему все, что имел. Он взял и даже не поблагодарил. После того как он ушел, я поклялся не видеть больше это ничтожество. Но мне было ясно, что я беспомощен перед ним. Я был перед ним в неоплатном долгу.

Макс Блиндер прервался и заказал еще кофе.

— Я видел много никчемных людей на своем веку,— продолжал он,— но такого шлимазла*, как этот Билл, больше нет в целом свете. Он все делает шиворот-навыворот. Он не может учиться, он не может овладеть профессией, он не годен для коммерческой деятельности. Он терпит неудачу, за что бы ни брался. Как говорится, «займись он продажей саванов, никто бы не умирал». Иногда такой мужчина удачно женится, взяв энергичную жену, которая ему помогает. Но он женился на ленивой девице — на этаком куске мяса,— и из нее тотчас посыпались дети. Пять девочек. Дети болели, взрослые тоже, и дом его стал похож на больницу. Половина его дохода уходила на докторов и лекарства. Случались и другие несчастья. Раз был пожар. В другой раз протек водопровод, и в результате обрушился потолок. После каждого бедствия он прибегал ко мне весь в поту, и я делал все, что мог.

Ты, возможно, не знаешь, но несколько лет у меня была типография — на своих книжках я почти ничего не зарабатываю. Я никогда не подсчитывал, во сколько обошелся мне этот Билл, но считать надо тысячами долларов. Я помог ему купить этот самый дом, о котором мы только что говорили... Естественно, он знает, что ему придется платить по закладной, но всякий раз, когда приходит срок, он прибегает ко мне — и всегда в последний день. Об одном я жалею — что не записал все эти его несчастья и катастрофы. Из них можно было бы составить книгу, одновременно трагическую и смешную.

---

* Недотёпа.

Временами мне хотелось взбунтоваться. В конце концов, это не моя плоть и кровь. Будь я уверен, что существует загробная жизнь и что Соня — где бы она ни была — знает о том, что я делаю для ее мальчика, я бы сдвинул горы, заботясь о нем. Но если наверху ничего нет и Соня — лишь горсть праха, для кого мне приносить жертвы? Ему даже ни разу не пришло в голову подарить мне какой-нибудь пустяк на Хануку* или на день рождения. Когда у меня выходят книги, мои коллеги время от времени устраивают банкет в мою честь. Я всегда прошу, чтобы ему посылали приглашение. Он ни разу не явился. Ты видел, как он хватает то, что я ему даю, не пытаясь даже поблагодарить меня. И так вот уже много лет.

Этот ничтожный тип — мой враг, потому что он каким-то образом знает — назови это подсознанием или просто инстинктом,— что я отвечаю за его пребывание в этом мире. У него зуб на меня. Он, кажется, верит, что его неудачи тоже каким-то образом связаны со мной. Один каббалист говорил мне, что, когда мужчина насилует женщину или зачинает ребенка против ее воли, он тем самым отрывает от Престола Славы** некую душу, которой не следовало попадать на землю, и такой душе суждено блуждать среди нас, как в мире Хаоса. Во время нескольких бесед, которые я заводил с Биллом, он всегда говорил одно и то же: он, мол, долго не проживет. Но тем не менее он не воздерживался от намеков на то, что я должен помянуть его в своем завещании. Он весь состоит из противоречий. Возможно, вся вселенная — это одно большое противоречие. Бог противоречит себе, и из этого противоречия возникает весь мир. Как тебе такая философия?

Теперь слушай. Я говорил тебе, что у Билла пять дочерей — одна краше другой. С чем с чем, а с детьми ему везло. Ему не на что было их учить, однако три девочки сами заработали себе на колледж. Кроме того, они получали поощрительные стипендии. Я интересовался его дочерьми. Я

---

* Ежегодный праздник освящения алтаря и очищения храма, зывается также праздником Маккавеев.

** С этим связано представление о том месте, откуда Бог проявляет свое величие и славу. Престол Славы играет большую роль в позднейшей каббале.

часто просил его разрешить мне повидаться с ними, но он продолжал держать меня на расстоянии. Ты не поверишь, но я ни разу не побывал в доме, купленном с моей помощью. Я решился предложить ему назвать одну дочь в честь матери, но он дал им всем нееврейские имена: Джин, Беатрис, Нэнси и тому подобное. Он слышать не хочет ни о каком иудействе. Он покупает елку на Рождество. Как раз из-за елки и загорелся дом.

Я смирился с тем, что всю жизнь буду у него в долгу, но не оставлю ему ни гроша. Кроме того, мне почти нечего оставлять. Я давным-давно ликвидировал свою типографию.

А теперь — самое главное. Пару месяцев назад вышла моя книга «Янтарный кумир». Не удивляйся. Мне нравятся необычные названия. Где-то в глубине души я дадаист, футурист — назови, как хочешь. Раз есть кумиры из золота, серебра и камня, почему не быть кумиру из янтаря? Даже если в действительности они не существуют, почему бы им не быть в поэзии? Ты знаешь лучше меня, что каббала основана на сочетании букв. Когда ты сочетаешь два предмета, никогда прежде не существовавших совместно, они начинают новое бытие, возможно, отягощая им небесные сферы.

Короче, мои любезные коллеги устроили для меня вечер. Они спросили, кого пригласить, и я дал им список имен и адресов, по которому моя жена рассылает поздравления и тому подобное. Собравшись, мы ужинали и по обыкновению злословили о других писателях. И вот я сижу и пытаюсь сладить с крылом жесткого петуха, а к столу подходит *Соня*. Да, дочка Билла. Ее звали Нэнси, но это была Соня — такая, какой та, возможно, была лет в восемнадцать. Я сидел онемев. Она сказала мне:

— Вы меня не знаете, но я вас знаю. Ради вас я выучила идиш и смогла прочесть ваши стихи. Я Сонина внучка! — И она улыбнулась, как будто все это было шуткой.

Я еле сдерживал слезы. Я сказал:

— Ты вылитая бабушка.

Словно боясь развеять мои иллюзии, она тут же сообщила мне, что встречается с одним молодым человеком и что они, того гляди, поженятся. Он студент Принстонского университета и родом из Аризоны или откуда-то оттуда.

Нэнси сказала мне больше: её будущий муж — и, вероятно, нынешний любовник — тоже заинтересовался моим творчеством и хочет учить идиш. Он изучает литературу.

Я едва слышал, что она мне говорила. Благочестивые говорят о воскресении, и вот я стал свидетелем воскресения. Да, но Соня была Соней, а это была Нэнси. Ей недоставало бабушкиной живости. Я пригласил ее сесть рядом со мной. Вскоре должны были начаться речи, я услышал, как она сказала:

— Почему вы никогда не заходите к нам? Мы все считаем вас нашим дедушкой. Теперь, когда у нас есть загородный дом, вы сможете там отдыхать и писать, у нас есть комната для гостей.

— Загородный дом? — спросил я, и она сказала:

— Разве отец не говорил вам? Представьте себе. Не успел он выплатить по закладной за наш дом, как купил новый и влез в новые долги. Отцу непременно нужно о чем-то беспокоиться и ломать над чем-нибудь голову. Прежний дом почти оплачен, и мы, девочки, уже все зарабатываем. Скоро мы смогли бы жить независимо. Так что ему пришлось купить летний дом, и теперь снова будет экономический кризис. Таков мой папочка.

Вся эта история так огорчила меня, что я не расслышал ни одну из речей, и, когда настала моя очередь, я не понимал, о чем говорю. Меня всегда считали хорошим оратором. В тот вечер я погубил свою репутацию.

Ночью я не сомкнул глаз. Я давал себе самые страшные клятвы в том, что, когда Билл появится в следующий раз, я схвачу его за шиворот и скажу: «Убирайся отсюда к чертям». Я обзывал себя «волом», «клячей» и «тупицей». Но недели не прошло, и вот он вновь стоит передо мной — с болтающимися пуговицами, в лохмотьях, с бледным лицом и с уныньем во взоре — само отчаянье. Он взглянул на меня, как жертва глядит на убийцу, и сказал: «Мне остается только повеситься».

Я хотел закричать: «Продай дачу, ты, симулянт! Паразит! Schnorrer вшивый!» Но в то же время подумал: отчего ему нельзя иметь дачи? Почему у него не должно быть места, куда бы он мог поехать отдохнуть. А что если он сдержит слово и впрямь повесится? Я видел идиотов, прыгавших из

окон во время краха на Уоллстрит в 1929 году, когда их акции падали. Остальное ты уже знаешь. Я плачу, как отец. Ты же был свидетелем. Что ты скажешь обо всем об этом?

— Спиноза утверждал, что все может превратиться в страсть. «Все» включает в себя и все разновидности чувств,— сказал я.

— И жалость?

— И жалость.

— А как насчет любви?

— Спиноза уподобляет влюбленных безумцам,— сказал я.

— Правда? Что же, воистину он прав. Но после всех этих лет слишком поздно становиться нормальным.

Эгоист

В доме, в котором я снимал квартиру, на Риверсайд, драйв, у меня была соседка двумя этажами выше, Мария Давидовна. К ней ходили знаменитые эмигранты из России — радикалы, социалисты. Она была высокой и темноволосой, с классическими пропорциями и с серыми глазами за толстыми стеклами пенсне. Ее волосы были собраны в пучок. Она всегда носила темные юбки и блузки с высокими воротничками. Она напоминала мне русских революционеров, которые жили на чердаках, вручную печатали листовки или начиняли бомбы, чтобы бросать их в приспешников царя. Я познакомился с ней, когда сломался лифт и я помогал ей нести старую потрепанную русскую энциклопедию, которую она купила на Четвертой авеню. Когда мы сошлись покороче, она стала приглашать меня к себе наверх играть в шахматы, и, сколько раз мы играли, столько раз я проигрывал.

Мало-помалу я свел знакомство и с ее друзьями — в особенности с тремя постоянными посетителями. Один из них был бывший лидер одной из фракций русской Думы — Попов. В Нью-Йорке он овдовел и женился на дальней родственнице Марии Давидовны. Попов жил всего в нескольких кварталах от нас. Его новая жена болела, и Попов обычно сам покупал продукты и готовил. Я много раз встречал его в супермаркете толкающим тележку. Он был низкорослый, широкоплечий, с густыми белыми волосами, похожими на пену. У него были красное лицо, вздернутый нос и белая бородка клинышком. Он всегда носил один и тот же двубортный костюм и ботинки с круглыми носками. Его галстук был завязан широким узлом. Мне порой казалось, что он был точности так же одет сорок лет назад и так и остался в тогдашней одежде и с тем же выражением лица, как фотографии, которую я видел в одной книге о России. Всякий раз, когда мы встречались, он протягивал мне

тяжелую руку, и за долгим рукопожатием следовало ещё одно — короткое. Поскольку я не знал русского, он говорил со мной на ломаном английском. В русской политической жизни у него была репутация примирителя различных фракций, человека, который предотвратил не один раскол в радикальном движении. Суть его благодушной беседы обычно сводилась к тому, что, несмотря на все трудности, мы должны благодарить судьбу за то, что живем в свободной стране.

Другой посетитель, профессор Булов, написал историю русской революции от декабристов до Сталина. Булов был большой и широкий — громадный мужчина с прямоугольным желтоватым лицом и раскосыми монгольскими глазами. Он мало говорил, просто кивал головой. Мария Давидовна рассказывала мне, что родом он откуда-то с севера Сибири и что в молодости он имел обыкновение ходить на медведя с рогатиной. Позднее он просидел много лет в одиночке одной из русских тюрем и от этого стал таким молчаливым. У него были плоский нос, низкий лоб, толстые губы и копна волос, жестких, как щетка. Он ненавидел большевиков со страстью, которая, казалось, сверкала в его стальных глазах. Я воображал, что он прячет в себе какое-то недоброе чувство, корни которого восходят ко времени Чингисхана. Мария Давидовна говорила, что Булов никогда не мог простить Попову его оппозиции в вопросе об аресте Ленина. Рассказывали, что Булов ухитрился бежать из России после того, как убил кого-то из ГПУ. Всякий раз, когда он заговаривал о теперешней России, он упирался кулаком в стол, и мне всегда казалось, что стол еле выдерживает давление этого мощного кулака и того гляди рухнет.

Третьим посетителем был Кузинский, граф по рождению. Он примкнул к революционному движению еще совсем молодым и занимал важное положение во время девятимесячного правления Керенского. Кузинский был Рослым, худощавым, с высоким лбом и острой бородкой, которая оставалась черной, хотя ему было уже за шесть. У него были карие глаза, которые часто светились житейским юмором.

Кузинский слыл скептиком, шутником и дамским угодником. Он одевался изящней прочих русских, навещавших Марию Давидовну, носил короткие гетры и зимой и летом. Однажды я видел, как Мария Давидовна

гладила ему шелковую рубашку. Один писатель, знавший эту группу, рассказывал мне, что у Кузинского душа фельетониста, а вовсе не борца. От его шуток иным становилось не по себе. В одном мы с Кузинским были схожи: когда он играл в шахматы с Марией Давидовной, он тоже неизбежно проигрывал. Иногда мы вместе играли против нее. Кузинский курил сигарету напевал какую-то русскую мелодию, ел орешки и халву поставленные Марией Давидовной перед нами, выпивал множество стаканов чая с лимоном и делал один неверный ход за другим, все время отпуская шуточки. Рядом с ним я становился еще большим профаном в игре. Когда мы в конце концов проигрывали, Кузинский говорил.

— Не переживайте, товарищ, окончательная победа будет за нами. Расплата близка.

И он подмигивал профессору Булову, смешно гримасничая. Он пародировал Булова, верившего, что в Советской России со дня на день начнется контрреволюция.

Кузинский и Булов оба были холостяками. Из некоторых замечаний Марии Давидовны, из надписей на книгах, которые Кузинский подносил ей в дни рождения, я мог заключить, что он влюблен в нее. Булов же любил ее явно. Он пристально и алчно глядел на нее своими раскосыми глазами, под которыми были тяжелые мешки. Он прислушивался к каждому звуку, доносившемуся из кухни, когда она заваривала чай. Мария Давидовна помогала ему собирать материал для его весьма объемной книги. Одно мне известно доподлинно — он никогда не ночевал в ее квартире. Иногда я встречал его выходящим из лифта в два часа ночи. В этих случаях он выглядел особенно раздраженным, на лбу у него появлялась кривая складка, и он не отвечал на мое приветствие. Его широкое скуластое лицо становилось зеленоватым. Я предполагал, что Булов постоянно ревнует, что он подозревает каждого мужчину в связи с Марией Давидовной и едва сдерживает бешенство, которое всякий момент грозит прорваться наружу со всей его сибирской свирепостью.

Иногда Мария Давидовна приглашала меня к себе в отсутствие прочих гостей. После того как я получал очередной мат, мы шли пить чай с вареньем и беседовали сионизме, Талмуде и литературе на идише. Поскольку мы оба говорили на чужом для нас языке, наши разговоры не могли быть глубокими.

Мария Давидовна занималась наукой и много читала, знала русскую и французскую литературу, но у нее был склад ума, свойственный социальным теоретикам. Она во всём пыталась найти логику. В ней сохранилась какая-то молодая неопытность, ни во что не созревшая с годами. В каком-то смысле она все еще была гимназисткой — барышней накануне первой мировой войны. Я был уверен, что она ведет дневник. Она вывезла из России толстый альбом выцветших фотографий, на которых ее окружало несчетное множество студентов, подруг и родственников. У большинства молодых людей были бороды, на многих были черные блузы с наборными поясами. Я часто разглядывал эти фотографии и расспрашивал о них Марию Давидовну. Она пристально всматривалась в фотографии своими близорукими глазами, словно сама уже точно не знала, кто там изображен, и наконец говорила: «погиб на войне», «расстрелян большевиками», «умерла от тифа».

Я пытался задавать ей вопросы о ее дружбе с Кузинским и Буловым, но она отвечала уклончиво. Все же мне удалось разузнать некоторые подробности. Мария Давидовна была дочерью богатого торговца лесом. Она окончила Киевскую гимназию с золотой медалью. Еще в седьмом классе вступила в революционную организацию. Короткий период правления Керенского был для нее временем личного триумфа. Она была близко знакома со всеми меньшевистскими лидерами, они доверяли ей важные государственные поручения. Каждый день этого года был полон неожиданностей. То был год без зимы — революция началась весной и кончилась осенью, когда коммунисты взяли верх. С той поры жизнь Марии Давидовны превратилась в своего Рода затянувшийся период траура. Она бежала из России, жила короткое время в Варшаве, Вене, Праге и Лондоне, но нище не могла прочно обосноваться. Она Училась в нескольких университетах, ни разу не дослушав ни одного курса. Она уже многие годы жила в Нью-Йорке, но по-прежнему не выносила этот прозаический город с его шумом, спешкой, грязью и жаждой наживы. Утверждала, что в Нью-Йорке нет ни одного красивого здания, ни одного gemütlich* ресторана или кафе и что, несмотря на все электрические лампочки, по ночам в

* Уютный *(нем.)*.

этом городе темно, как в джунглях. Подземка представлялась ей кошмаром.

Однажды совершенно неожиданно Мария Давидовна открыла мне свою душу. Я сказал ей, что она, в сущности, нечто вроде монахини, живущей в миру. Услышав эти слова, Мария Давидовна сняла свое пенсне, и лицо ее стало голым и скорбным. По обеим сторонам, переносицы остались вмятины от пенсне — глубокие и голубоватые. Она подняла свои покрасневшие веки и спросила:

— Доводилось ли вам видеть живой труп? Я имею в виду не фигурально, а буквально.

— Буквально? Нет.

— Раз уж вы пишете о духах и привидениях, я хочу вам сказать, что перед вами живой труп.

— Когда вы умерли?

— После большевистской революции.

— Каким образом?

— О, слишком долго рассказывать. Фактически я была мертвой даже в молодости. Слишком многого я требовала от жизни, а требующие слишком многого, не получают ничего. Отец редко бывал дома. Я не знаю, отчего он сторонился моей матери. Она была красивой женщиной, хоть и меланхоличной. Она умерла, когда я еще училась в гимназии. Я была у них единственной дочерью. Каждый день, взяв портфель, чтобы идти в школу, я спрашивала себя: «Зачем я живу? Какой в этом смысл?» Это не было простой причудой. У меня всегда было сильное желание умереть. Я завидовала мертвым. У меня была привычка ходить на православное кладбище и часами стоять там, разглядывая фотографии на надгробьях. Февральская революция оторвала меня от смерти. Она опьянила меня. Но и тогда я знала, что это опьянение долго не продлится. Правление Керенского имело в себе все симптомы алкогольного опьянения — это был своего рода карнавал, которому суждено было скоро кончиться. Большевизм был тем горьким похмельем, которое приходит следом,— извините...

Некоторое время мы оба молчали. Потом я спросил:

— Что за человек Кузинский?

— Эгоист — большего эгоиста я не встречала. Всю свою жизнь он прячется от действительности. От тогдашнего карнавала осталась лишь груда хлама, но для него праздник продолжается — частный праздник гедониста. Пожалуйста, не спрашивайте меня больше. Я и так наговорила слишком

много.

И Мария Давидовна надела свое пенсне.

Я стал понимать, что Кузинский нездоров. Его лицо пожелтело, щеки ввалились. Когда он зажигал сигарету, спичка дрожала в его длинных пальцах. Как-то вечером, когда Кузинский был в гостях у Марии Давидовны, Попов принес кастрюлю борща, который сам сварил. Кузинский отхлебнул только ложку.

Попов сказал:

— Это целебный борщ. С настоящим лимоном, а не с кислотой.

— А как же, весь мир знает, что ты первоклассный повар — после той каши, которую ты заварил в России.

Кузинский продолжал шутить, но во всем остальном изменился. Когда я играл в шахматы с Марией Давидовной, он больше не давал мне советов. Он даже перестал напевать свою обычную мелодию. Через каждые несколько минут он отправлялся в туалет и возвращался нетвердым шагом. Его бородка побелела, и я заподозрил, что прежде он ее красил. Мне рассказывали, что он пишет воспоминания, его субсидирует какой-то фонд.

В книгах о России, которые были у Марии Давидовны, можно было найти фотографии Кузинского — гимназиста, студента университета, революционера, политического ссыльного, оратора на многолюдном митинге в Петрограде. Он был частью истории России, а следовательно, и мировой истории. И вот теперь он лежал на диване у Марии Давидовны, кашляя в платок, то и дело задремывая, а Мария Давидовна бранила его за то, что он не соблюдает диету и боится пойти к врачу или лечь в больницу.

Слова Марии Давидовны о том, что она живой труп, произвели на меня большее впечатление, чем обычно производят подобные фразы. Мне стало казаться, что я чувствую сладковатый запах тления в ее квартире. Хотя по вечерам у нее горели все лампы, комнаты оставались сумрачными, возможно, из-за того, что на каждой стене были книжные полки до самого потолка. Всякий раз, когда я брал с полки какую-нибудь книгу, кусочки сухой бумаги отламывались от ее страниц. К тому же я заметил, что Булов и Кузинский разговаривают с Марией Давидовной, но друг к другу не обращаются. Они даже избегают глядеть друг на

друга. Или они поссорились, или им просто не о чем больше говорить? Я стал бояться Булова. Порой, глядя, как он безмолвно сидит, кося двумя щелями вместо глаз, я чувствовал, что он еще не вышел из сибирской тайги — доисторический человек, по прихоти судьбы очутившийся в двадцатом веке и ставший профессором. Я перестал бывать у Марии Давидовны.

Однажды вечером я сидел в своей комнате и читал газету, когда кто-то постучал в дверь. Обычно только дезинсектор стучался ко мне без предварительной договоренности. Однако он всегда являлся днем. Я вышел в прихожую и спросил:

— Кто там?

— Это я, Мария Давидовна.

Я узнал ее, хотя она говорила сдавленным голосом. Я впустил ее. Мария Давидовна стояла передо мной без пенсне с бледным, изменившимся лицом.

Она говорила:

— Пожалуйста, простите, что я побеспокоила вас, но случилось нечто ужасное, и я не знаю, к кому обратиться. Кузинский только что умер.

— Умер! Как? Где?

— У меня. Я звонила, но никого нет дома — ни Булова, ни Попова,— или, может быть, я неверно набрала номер — я потеряла очки и совсем ничего не вижу.

— Вы позвали доктора?

— Он никогда не ходил к врачу. Будьте так добры, поднимитесь со мной. Без очков я слепая.

Мной овладел мальчишеский страх, но я не мог отказать Марии Давидовне и оставить ее наедине с покойником. Мы не стали вызывать лифт, а молча поднялись по ступеням. Мария Давидовна вцепилась в мою руку. Мы прошли через длинный коридор ее квартиры, через гостиную и вошли в спальню. На широкой постели Марии Давидовны лежал Кузинский в костюме, в галстуке-бабочке и в ботинках с гетрами. Я еле узнал его. Его прямой нос заострился, его кожа стала совершенно желтой, его белая борода задралась и съежилась. Среди складок кожи в уголках глаз осталась какая-то застывшая улыбка.

После некоторого колебания Мария Давидовна спросила:

— Как вы думаете, стоит ли позвонить в полицию?

— В полицию? Зачем? Может быть, вам следует по-

ловить в русскую газету.

— Там нет никого ночью. От волнения я потеряла Это чудо, что мне удалось найти вашу дверь. С ним кончилась моя жизнь.— Ее тон изменился.— Как вы думаете, вам удастся найти мои очки?

Я искал на полу, на ночном столике, на буфете, но пенсне Марии Давидовны нигде не было. Я сказал:

— Может быть, вам следует позвонить в здешние газеты?

— Там станут спрашивать подробности, а я слишком взволнованна и ничего не припомню. Погодите — телефон.

Мария Давидовна вышла из спальни. Я было хотел пойти следом за ней, но постыдился выказывать такое малодушие. Я стоял, пристально вглядываясь в Кузинского, сердце мое колотилось. Его лицо было желтым и твердым как кость. Маленький беззубый рот был полуоткрыт. На ковре я увидел его вставные зубы, странно длинные на пластмассовой пластинке. Носком ботинка я затолкнул их под кровать.

Мария Давидовна вернулась:

— С ума сойти — мне только что сказали, что я заслужила право взять два бесплатных урока в каком-то танцклассе. Что мне делать?

— Если вы припомните номер, я позвоню Попову или Булову.

— Их наверняка нет дома. Булов скоро будет здесь — с минуты на минуту. Мы пили чай и играли в шахматы, вдруг он рухнул на кровать, и все.

— Легкий конец.

— Он жил как эгоист и вот теперь бросил нас как эгоист. Что мне делать? Каждая секунда будет для меня адом. Сядьте, пожалуйста.

Я сел на стул, Мария Давидовна — на другой. Я Устроился так, чтобы не видеть покойника. Стиснув Руки, Мария Давидовна говорила с монотонностью, напоминавшей причитания матерей и бабок.

— Все было лишь себялюбием. Его хождения в народ, его тюремное заключение — все, все. Он оставался барином до последней секунды своей жизни. Если он что-нибудь давал — это всегда была милостыня, даже его любовь. Гордость не позволяла ему пойти к врачу. Что до меня, то я растратила свои годы впустую. Я забыла, что я еврейка. На

днях я прочла в Библии об израильтянах, служивших идолам. Я сказала себе: «Моим идолом была революция, и за это меня карает Бог».

— Хорошо, что вы это поняли хоть теперь.

— Слишком поздно. Он ушел, когда счел нужным оставил меня умирать тысячью смертей. Когда-то они возлагали все свои надежды на революцию. Последние тридцать лет они томятся по контрреволюции. Но какая разница? Все они старые и больные. Новое поколение не узнает всей правды. Все, что они могут,— это продлить агонию. Он по крайней мере признавал это.

Зазвонил телефон. На этот раз звонил Попов. Я слышал, как Мария Давидовна рассказывает ему о случившемся. Она все время твердила: «Да, да, да».

Попов и Булов не заставили себя ждать, а вскоре последовали и другие — кто с белой бородой, кто с белыми усами. Один старик опирался на костыли. Костюм Попова был в пятнах; его щеки горели, словно он только что отошел от горячей плиты. Его младенческие глаза под косматыми бровями были полны укоризны, Казалось, они говорили: «Нет, вы посмотрите, что он с нами сделал!» Булов взял запястье покойника и пощупал пульс. Он покривился, покачал прямоугольной головой, а глаза его говорили: «Это против всех правил, граф. Так себя не ведут». Весьма ловко он закрыл покойнику рот.

Стали прибывать женщины в длинных, старомодных платьях, в туфлях на низком каблуке. Их редкие волосы были собраны в пучок и заколоты шпильками. У одной из них на плечах была турецкая шаль — вроде тех, что носила моя бабушка. Живя в Америке, я и забыл, что существуют такие морщинистые лица и такие сгорбленные спины. У одной старухи было сразу две трости. Она сделала шаг, и я услышал, как хрустнуло стекло. Она наступила на пенсне Марии Давидовны. Ее маленький волосатый подбородок так дрожал, словно она бормотала заклинание. Я узнал ее по снимку, который видел в одной книге. Она была специалисткой по изготовлению бомб и содержалась в одиночке печально известной Шлиссельбургской крепости.

Я хотел было уйти, но Мария Давидовна попросила меня остаться. Она продолжала представлять меня новым посетителям, и я слышал имена, знакомые мне по книгам журналам, газетам: вожди революции, вожди Думы, члены Временного правительства. Каждый из них произносил

исторические речи, принимал участие в решающих конференциях. Хотя я знал польский, а не русский, я мог разобрать, о чем они говорят.

Старуха с тростями спросила:

— Не зажечь ли свечи?

— Свечи? Не надо,— сказал Попов.

Та что была в турецкой шали, хрустнула ревматическими пальцами:

— Он красив и сейчас.

— Может быть, его покрыть? — спросил старик на костылях.

— Кто нам его заменит? — спросил Попов и сам себе ответил: — Никто.

Его лицо стало апоплексически красным, и от этого его борода казалась еще белей. Он бормотал:

— Мы уходим, скоро не останется ни одного; нас призывает вечность — великая тайна. Россия забудет нас.

— Сергей Иванович, не преувеличивайте.

— Написано в Библии: «Род проходит, и род приходит». Еще вчера он был молод и дерзок — орел.

Один человек из группы, маленький, худощавый, с острой сивой бородкой, носивший очки, за которыми его глаза казались косыми, начал произносить нечто вроде погребального слова:

— Он жил для России и умер за нее,— сказал он.

Мария Давидовна перебила оратора.

— Ни для кого он не жил — только для себя. Мир никогда не узнает, как велик был его эгоизм,— никогда, никогда!

Стало тихо. Звонил телефон, но никто не подходил. Все они выглядели сбитыми с толку, огорченными, все были полны укоризны, полны прощения. Морщины в углах глаз Кузинского, казалось, смеялись. Мария Давидовна закрыла лицо руками и стала плакать хриплым голосом.

Новогодняя вечеринка

Какая-то женщина позвонила мне по телефону. Она сказала:

— Я уверена, вы не знаете, кто я такая, но я читаю ваши книги и знаю вас по крайней мере лет двадцать к тому же мы однажды встречались. Меня зовут Перл Лейпцигер.

— Я очень даже знаю вас,— сказал я,— я читал ваши стихи. Мы встречались на квартире у Бориса Лемкина, на Парк-авеню.

— Ну, стало быть, вы действительно меня запомнили. Вот зачем я звоню. Несколько писательниц пишущих на идише, и несколько любительниц литературы на идише решили отпраздновать Новый год. Придет Борис Лемкин. Кстати сказать, это его идея. Мы все подумали, как было бы хорошо, если б вы смогли прийти. Будет несколько женщин и двое мужчин, не считая вас: Борис Лемкин и его тень, Гарри. Я понимаю, вы известный писатель, а мы лишь кучка старых новичков — практически дилетантов,— но мы любим литературу, и мы ваши верные читатели. Будьте уверены, вы окажетесь среди преданных вам поклонников.

— Перл Лейпцигер, я почту за честь присутствовать на вашем вечере. Где вы живете и во сколько я должен прийти?

— О, вы окажете нам большую честь. Все же канун Нового года — своего рода праздник даже для нас. Приходите, когда вам заблагорассудится — чем раньше, тем лучше. Подождите, у меня идея — почему бы вам не прийти к ужину? Подъедут Борис и Гарри, а остальные придут попозже. Я знаю, что вы хотите сказать — вы вегетарианец. Положитесь на меня, я сварю вам такой суп, какой варила ваша мать.

— Откуда вы знаете про супы моей матери?

— Из ваших рассказов, откуда еще?

Перл Лейпцигер дала мне свой адрес в Восточном

Бронксе, а также точные инструкции относительно того, как добираться к ней подземкой. Она без конца благодарила меня. Я знал, что Перл за пятьдесят, но голос у неё был молодым и сильным.

В канун Нового года выпал обильный снег. Улицы белыми, а небо к вечеру сделалось лиловым. Нью-Йорк напоминал мне Варшаву. Не хватало разве что розвальней с запряженными в них лошадьми. Шагая сквозь снегопад, я воображал, что слышу звон бубенцов. Я купил бутылку шампанского и исхитрился поймать такси до Бронкса — немалая удача в канун Нового года. Было еще рано, но дети уже трубили в свои рожки, возвещая о наступлении Нового года. Такси проезжало насквозь еврейский квартал, и то там, то тут я видел рождественские елки с развешанными на них гирляндами огоньков и мишуры. Некоторые магазины были уже закрыты. В других поздние посетители закупали еду и спиртное. Дорогой я упрекал себя в том, что избегаю писателей и не бываю на их собраниях и вечеринках. Беда в том, что стоит мне встретиться с ними, как они тотчас начинают сообщать мне последние сплетни — что сказал обо мне такой-то и что написал другой. Левые писатели бранят меня за то, что я недостаточно содействую мировой революции. Сионисты корят меня за то, что я не изображаю борьбу за существование еврейского государства и героизм его пионеров.

Борис Лемкин был богатым владельцем недвижимости и немного покровительствовал еврейским писателям и художникам. Сочинители посылали ему свои книги, а он отправлял им по почте чеки. Он покупал картины. Жил он на Парк-авеню вместе с Гарри, старым другом из Румынии. Обычно Борис называл его «мой диктатор». На самом деле Гарри, или Гершель, был для Бориса лакеем и поваром. Борис Лемкин был известен как гурман и волокита. Прошло много лет с тех пор, как он расстался со своей женой. Кто-то мне говорил, что он собрал огромную коллекцию порнографических фотографий и фильмов.

В четверть седьмого такси остановилось перед домом, где жила Перл, и я поднялся на лифте на четвертый Перл ждала меня в открытых дверях своей квартиры. Она была низкого роста, с высокой грудью, широкими бедрами, круглым лбом,

крючковатым носом и большими черными глазами — в них светилась польско-еврейская радость жизни, которую, казалось могли затмить никакие несчастья. На ней было вечернее платье с блестками и золотые туфельки. Волосы были только что покрашены в черный цвет и зачесаны вверх. Ногти были покрыты малиновым лаком. Золотая звезда Давида висела у нее на шее, длинные серьги качались на мочках ушей, на одном из пальцев сверкал бриллиант — все это, несомненно, были подарки Бори Лемкина. Должно быть, Перл уже немного выпила она поцеловала меня, хотя мы были едва знаком»? Переступив порог, я почувствовал аромат маминого супа: ячневая крупа, чечевица, сушеные грибы, жареный лук. Гостиная была завалена безделушками. На стенах висели картины, написанные, должно быть, художниками, которым покровительствовал Борис Лемкин

— Где Борис? — спросил я.

— Как всегда, опаздывает,— сказала Перл,— но он звонил и сказал, что скоро будет. Давайте пока выпьем. Что вы предпочитаете? У меня есть почти все, что вы могли бы пожелать. Я испекла анисовое печенье, которое вы любите, и не спрашивайте, откуда я это знаю.

Пока мы пили шерри и ели анисовое печенье, Перл говорила:

— У вас много врагов, но не меньше друзей. Я — одна из ваших верных защитниц. Я никому не позволяю клеветать на вас в моем присутствии. И чего они только не говорят? Что вы сноб, циник, мизантроп, отшельник. Но я, Перл Лейпцигер, защищаю вас, как львица. Один умник дошел до того, что намекнул, будто я ваша любовница! Я им всем говорю одно и то же: стоит мне открыть одну из их книжонок, как меня одолевает зевота, но когда...

Зазвонил телефон, и Перл схватила трубку.

— Да, он здесь. Он пришел вовремя. Он принес мне шампанское как настоящий кавалер. Борис? Нет, нет еще. Должно быть, занят с одной из своих ент*. Мои литературные акции, похоже, упали, но я утешаю себя тем, что перед Богом мы все равны. Для Бога какая-нибудь муха значит не меньше, чем Шекспир. Не опаздывай. Что? Ничего не надо приносить.

---

* Ента — девица.

Я накупила столько тортов, что их хватит до Пасхи.

Было двадцать минут восьмого, а Борис все еще не появлялся. За час мы с Перл так сблизились, что она поведала мне все свои секреты. Она говорила:

— Я родилась в набожной семье. Если бы прежде кто-нибудь сказал, что я не выйду замуж, как то предписывает Закон Моисея и Израиля, я сочла бы это дурной шуткой. Но Америка расшатала наши устои. Моего отца заставили работать в Субботу, и это было страшным ударом и для него, и для моей матери. В сущности это убило их. Я стала ходить на самые левые митинги, где проповедовали атеизм и свободную любовь. На одном из них я встретила Бориса. Он клялся, что, как только разведется со своей мегерой, мы тотчас встанем под брачный полог. Я верила всему. Он такой враль, что прошли годы, прежде чем я раскусила его. Он и по сей день не признается в том, что у него есть другие женщины, даже противно. Зачем человеку в семьдесят лет столько женщин? Он похож на римлян с их рвотным, изрыгающих один ужин, чтобы участвовать в следующем. К тому же он сумасшедший. Вы и представить себе не можете, какой он сумасшедший, но, когда дело доходит до денег, тут он умнее всех. За четыре недели до биржевого краха 1929 года он продал все свои акции и получил полмиллиона наличными. В те дни с такой кучей наличности можно было купить пол-Америки. А теперь он и сам не знает, насколько богат. Но все равно он отсчитывает мне деньги по центу. Когда он навеселе, он может промотать тысячи, а потом вдруг готов удавиться за грош. Кто-то пришел, вот и он сам наконец-то.

Перл побежала открывать. Вскоре я услышал голос Бориса Лемкина. Он не говорил — он ревел. Казалось, что он пьян. Борис Лемкин был маленьким, круглым, как бочонок, с красным лицом, белыми волосами и белыми лохматыми бровями, из-под которых проглядывала пара бусинок-глаз. На нем был смокинг, розовая гофрированная сорочка и лаковые ботинки. Сигара торчала в его толстых губах. Он протянул мне руку, на трёх пальцах которой были перстни, и закричал:

— Шолом алейхем! Я прочел все написанное вами слова. Пожалуйста, не соблазняйте мою Перл. Кроме неё, у меня никого нет. Чем бы я был без нее? Ничем и даже меньше

того. Перл, милочка, дай мне что-нибудь выпить — горло пересохло.

— Потом выпьешь. Сейчас мы будем есть.

— Есть? Что за выдумки? Кто ест в новогоднюю ночь?

— Хочешь не хочешь, тебе придется поесть.

Ладно, когда она настаивает, приходится есть. Видите мой живот? В него войдет все, что есть в лавках бакалейщика и мясника, и все же он не наполнится. После смерти я оставлю свое тело в дар прозекторам. Доктора обнаружат в нем чудеса медицинской премудрости.

Мы пошли на кухню. Хотя Борис утверждал, что не голоден, он жадно проглотил две полные тарелки супа. Он чавкал и вздыхал, и Перл сказала:

— Как был свиньей, так свиньей и остался.

— У меня была умная мама,— говорил Борис — она мне частенько говорила: «Береле, глотай все, пока можешь. В могиле не поешь». В Бессарабии у нас было такое блюдо — карнацлехи, и во всей Америке есть только один человек, который умеет их готовить, эго Гарри. Больше он ни на что не годен, этот евнух. Вы можете дать ему пятидолларовую бумажку, и он поверит вам, что это сто долларов, но когда дело доходит до стряпни, то шеф-повар «Уолдорф-Астории» не годится ему в подметки. Кроме того, у него есть чутье, которое Бог дает только идиотам. Если Гарри советует мне покупать акции, я не теряю ни секунды — я зову своего маклера и велю ему покупать. Если Гарри советует продавать, я продаю. Он ровным счетом ничего не смыслит в акциях — «Дженерал моторс» он называет «Дженерал матерь». Как это объяснить?

— Мало ли чего нельзя объяснить,— сказал я.

— Вот-вот — мои слова. Есть Бог, и в этом нет сомнений, но раз Он предпочитает безмолвствовать последние четыре тысячи лет и не желает сказать хотя бы словечко даже рабби Стефану Вайсу, стало быть, мы ничем ему не обязаны. Мы должны делать то, что нам предписано в «Агаде»*: «Ешь, пей и наслаждайся».

---

* Буквально — рассказ. Книга сказаний и молитв с определёными напевами; содержит в себе поучения и афоризмы, исторические предания и легенды; обычно агадисты используют притчи, басни, параболы, аллегорические и гиперболические рассказы.

Около девяти стали прибывать писательницы. Одну из них, Миру Ройскец, женщину лет восьмидесяти, я помнил еще по Варшаве. Ее лицо было в бесчисленных морщинах, но глаза оставались живыми и ясными, как у молоденькой девушки. Мира Ройскец когда-то опубликовала книгу под названием «Мужчина благ». Она принесла Перл пирог со смальцем, который испекла сама.

Матильда Файнгевирц — коренастая с огромной грудью и с лицом польской крестьянки — писала любовные стихи. Ее вкладом была бутылка сиропа, которым поливают ханукальные блинчики.

Берта Козацкая, чьи растрепанные волосы были выкрашены в морковный цвет, стала известна как автор бульварных романов для периодики на идише. Все ее героини были деревенскими девушками, которых совращали мошенники из больших городов, доводя их до проституции с последующим самоубийством. Перед ее приходом Перл Лейпцигер клялась мне, что Берта все еще девственница. Берта Козацкая принесла бабку, и как только Борис Лемкин увидел бабку, он сейчас же схватил ее и съел половину, вопя, что лишь святым в раю подают такие деликатесы.

Самым тщедушным существом из всей компании была товарищ Тцловех, карлица, по слухам сыгравшая гигантскую роль в революции 1905 года. Её муж, Файвель Блехер, был повешен за покушение на убийство шефа жандармерии Варшавы. Сама Тцловех была специалисткой по изготовлению бомб. Она подарила Перл пару шерстяных чулок, вроде тех, что варшавские школьницы носили пятьдесят лет назад.

Гарри пришел последним. Он принес Перл огромную бутыль шампанского, которую Борис поручил ему купить для этой вечеринки. Гарри был высоким, худым, с длинным веснушчатым лицом, и в его светлых волосах не было ни единого седого волоса. Он походил на ирландца. На нем были котелок, галстук-бабочка и летнее пальто. Едва Гарри вошел, как Борис закричал:

— Где утка?

— Я не смог достать утки.

— Во всем Нью-Йорке не осталось ни одной утки? — кричал Борис.— Утиная эпидемия? Или всех уток легировали

обратно в Европу?

— Борис, я не смог найти ни единой утки.

— Ладно, обойдемся без утки. Мне с самого утра ужасно хочется жареной утки. На каждую утку, которую можно купить нынче вечером в Нью-Йорке, я хотел бы иметь миллион долларов, не подлежащий налоговому обложению.

— Что бы вы стали делать с такой уймой денег? – спросил я.

— Я скупил бы всех уток в Америке.

Хотя Перл жила вдали от больших улиц, время от времени были слышны звуки праздничных рожков. Матильда Файнгевирц включила радио, и диктор объявил, что примерно около ста тысяч человек собралось на Таймс-сквер праздновать Новый год. Он также предсказал число дорожных инцидентов, которые произойдут за время праздника. Борис Лемкин уже принялся целовать Перл и прочих женщин. Он наливал себе одну рюмку за другой, и чем красней становилось его лицо, тем волосы, казалось, становились белей. Он смеялся, хлопал в ладоши и пытался заставить товарища Тцловех, специалистку по изготовлению бомб, станцевать с ним. Он оторвал Перл от пола, и та жаловалась что он рвет ей резинки.

Все это время Гарри сидел на диване, спокойный и трезвый, с серьезным видом лакея, приглядывающего за своим хозяином. Я спросил его, давно ли он знает Бориса, и Гарри ответил:

— Мы вместе ходили в хедер*.

— Он выглядит лет на двадцать старше вас.

— В нашем роду не седеют.

Зазвонил телефон, и Перл взяла трубку. Она стала говорить монотонно, на варшавский манер:

— Кто? Что? Ну вы что, прикидываетесь? А? Я не пророк.— Внезапно она напряглась.— Ладно, я слушаю,— прошептала она.

К тому времени Борис Лемкин ушел в туалет. Женщины с любопытством переглядывались. Перл продолжала молчать, но лицо ее выражало удивление, гнев, отвращение, хотя

---

* Еврейская религиозная начальная школа.

время от времени глаза ее наполнялись смехом. До того как Перл стала писательницей, она немного играла в еврейском театре. Наконец, она вновь заговорила:

— Что ж он, по-вашему,— полугодовалый младенец и его украли цыгане? В семьдесят лет человек должен знать чего он хочет. Я совратила его? Простите, но когда он начинал обхаживать вас, я была еще в колыбели.

Борис вернулся в гостиную.

— Отчего здесь так тихо? Или вы произносите безмолвные благословения?

Перл прикрыла трубку ладонью.

— Борис, это тебя.

— Меня? Кто это?

— Твоя прабабушка восстала из гроба. Ступай, возьми трубку в спальне.

Борис вопросительно поглядел на Гарри. Потом нетвёрдым шагом направился в спальню. С порога он бросил взгляд на Перл, казалось, вопрошавший: «Собираешься подслушивать?» Перл сидела в углу дивана с трубкой, прижатой к уху. Мы могли расслышать приглушенные крики. Гарри сдвинул свои светлые брови. Писательницы покачивали головами или укоризненно цокали языком. Я пошел взглянуть на картины, висевшие в прихожей, через арочный проход без дверей, ведший туда из гостиной: евреи, молящиеся перед Стеной плача, танцующие хасиды, богословы, склонившиеся над Талмудом, невеста, ведомая под брачный полог. Я взял книгу из шкафа и прочел эпизод из романа Берты Козацкой о человеке, который приходит в бордель и там узнает свою бывшую невесту. К тому времени, как я поставил книгу на место, Борис вернулся из спальни.

— Мне не нужны шпионы и я никому ничего не должен! — завопил он.— Катитесь к чертям, все. Паразитки, никудышки, пиявки!

— Пузырь лопнул,— торжествующе объявила Перл Лейпцигер. Она пыталась прикурить сигарету, но зажигалка не работала.

— Какой пузырь? Кто лопнул? Все, представление окончено. Мне ни к чему это сборище старых греховодниц, выдоивших меня досуха и требующих еще. Я никогда не давал никаких обетов верности ни вам, ни прочей швали.

Тьфу!

— Правда глаза колет, а?

— Правда в том, что ты такая же писательница, как я турок! — ревел Борис.— Каждый раз, когда ты что-нибудь сочинишь, я должен подкупать издателя, чтобы он тебя напечатал. И так со всей вашей братией,— Борис указал на остальных женщин.— Я пытался читать ваши стихи. Сердце — шмерце, любовь — шлюбовь! Восьмилетний школьник напишет лучше! Кому нужна ваша писанина! Разве что заворачивать селедку!

— Да посрамит тебя Бог так же, как ты срамишь нас,— выкрикнула Перл.

— Никакого Бога нет. Гарри, пошли.

Гарри не шелохнулся.

— Борис, ты пьян. Ступай в ванную и умойся может быть, у вас есть сода? — спросил он у Перл.

— Я пьян, да? Всякий швыряет мне правду в лицо стоит мне раз сказать правду, и я сразу пьян? Мне ни к чему умываться, мне не нужна сода. Я велел тебе купить утку, но тебе было лень искать. Ты такой же как они все,— Schnorrer, нищий, бездельник. Слушай, что тебе говорят! — взвыл Борис.— Если у меня сегодня не будет жареной утки, ты уволен и можешь катиться к чертям. Завтра утром я выброшу твой хлам, и духа твоего больше не будет в моем доме. Ясно?

— Ясно, вполне.

— Достанешь ты мне утку сейчас же или нет?

— Не сегодня.

— Сегодня или никогда. Я ухожу. Ты можешь оставаться здесь.

Борис направился к прихожей. Внезапно он увидел меня и попятился. Он глядел на меня в замешательстве.

— Я не имел в виду вас — только не вас. Куда вы исчезли? Я думал, вы уже ушли.

— Я рассматривал эти картины,— ответил я.

— Разве это картины? Подражания, пачкотня. Эти хасиды пляшут уже сто лет. Так называемые художники мажут грязью холсты и желают, чтобы я им платил за это. Перл набила себе чулок моими деньгами — от этого она и задирает нос. Еще два года назад я работал по шестнадцать часов в сутки. Я и теперь работаю по десять часов ежедневно.

Этот невежа Гарри думает, что мне без него не обойтись. Нужен он мне, как дырка в голове. Он даже не умеет расписаться. Он даже не смог получить гражданство. Он водит машину с моими правами, и я должен сидеть впереди, рядом с ним, потому что он не знает дорожных знаков. Я брошу всю эту дрянную компанию и уеду в Европу или в Палестину! Где мое пальто?

Борис бросился к дверям, но Перл преградила ему дорогу. Она раскинула руки с красными ногтями и закричала:

— Борис, ты не можешь вести машину в таком состоянии! Ты убьешь себя и еще десяток прохожих. По радио сказали...

— Если я и убью, то себя, а не тебя. Где мое пальто?

— Гарри, не пускай его,— захныкала Перл.

Гарри медленно приблизился.

— Борис, ты упрямишься как осёл.

— Заткнись. Ты можешь прикидываться благородным перед ними, но я-то тебя знаю. Твой отец был конюхом, а твоя мать... Ты сам удрал в Америку, потому что украл лошадь. Скажешь, не так?

— Так или не так, а я служу тебе уже сорок лет. Я мог бы заработать состояние, но не получил от тебя ни гроша. Как Иаков говорил Лавану: «Я не взял от тебя ни быка, ни осляти».

— Это Моисей говорил евреям, а не Иаков Лавану.

— Пусть Моисей. Если ты хочешь убить себя, открой окно и выпрыгни, как эти молокососы во время краха. Зачем губить «кадиллак»?

— Идиот, это мой «кадиллак» — не твой,— сказал Борис и так дико расхохотался, что женщины бросились бежать. Он согнулся, словно валясь под тяжестью своего хохота. Одной рукой Гарри ухватил Бориса за плечо, а другой шлепнул его по загривку. Мира Ройскец поспешила на кухню и принесла стакан воды. Борис выпрямился.

— Воду? Вы мне даете воду? Водка мне нужна, а не вода.

Он обнял Гарри и поцеловал его.

— Не покидай меня, дружище, брат мой, наследник. Я завещаю тебе все — все свое состояние. Все прочие враги — жена, дети, подружки. Что мне надо от жизни? Немного

дружелюбия и кусочек утки.

Лицо Бориса исказилось, его глаза наполнились слезами. Он закашлялся, засопел и стал плакать так же отчаянно, как смеялся минуту назад.

— Гарри, спаси меня!

— Пьян, как Лот,— возвестила Перл.

— Пойди приляг,— сказал Гарри. Он взял Бориса за руку и то ли повел, то ли потащил его в спальню. Борис упал на постель Перл Лейпцигер и, раз всхрапнув, тотчас заснул. Лицо Перл, казавшееся в начале вечера молодым и оживленным, побледнело, сморщилось и увяло. В ее взгляде странно сочетались печаль и ярость.

— Что ты станешь делать со всеми этими деньгами Гарри? — спросила она.— Тоже будешь, как он, валять дурака?

Гарри улыбнулся.

— Не беспокойтесь, он всех нас переживет.

Все четыре писательницы жили в Восточном Бронксе, и Гарри развозил их по домам. Я сидел впереди рядом с ним. Выпало так много снега, что Гарри с трудом проезжал по переулкам, на которых они жили. Как какой-нибудь извозчик в покинутой нами стране, он переносил каждую из писательниц через снежные сугробы и ставил на ступеньки крыльца. Все это время Гарри молчал. Но когда он выехал на Симен-авеню, он сказал:

— Ну вот и настал Новый год.

— Я слышал, вы специалист по приготовлению карнацлехов,— сказал я, лишь бы что-нибудь сказать.

Гарри тотчас разговорился.

— Здесь не надо никакого уменья. Если есть хорошее мясо, и ты знаешь, чем его приправить, они сами выходят на славу. У вас в Польше евреи ходили к своим раввинам. В Литве они учились в ешивах. А мы в Бессарабии ели мамалыгу и карнацлехи, и еще мы пили вино. Там Пурим* длился круглый год. Борис назвал меня невежей. Я не невежа.

---

* Праздник, поводом к которому послужили события книги «Эсфирь». Приходится на 14 и 15 Адара (март) — дни «пиршества и веселия», раздачи даров друзьям и милостыни бедным.

Я ходил в хедер, и по пятницам знал свою главу из Пятикнижия лучше его. Но здесь в Америке он слегка подучился английскому, а у меня не хватило на это терпения. Идиш я знаю лучше, чем он. И на что мне гражданство? Здесь никто не спрашивает паспорт. Он занялся бизнесом, а я работал в лавке. Несколько лет мы вовсе не встречались. Когда я пришел к нему, у него была жена по имени Генриетта — гарпия, стерва. «Где ты нашел этакую Ксантиппу**?» — спросил я его. «Гершель,— ответил он,— я был слеп. Помоги мне, ибо, если ты мне не поможешь, она сведет меня в могилу». Они еще не разошлись тогда. У него была контора, и я переехал туда. Он уже нажил язву желудка от Генриеттиных харчей – она все переперчивала. Кто знает, может быть, он хотела отравить его. В конторе была газовая плита, и я стал ему готовить. У него есть права, но он не может водить машину. Когда он ведет машину, он попадает в аварии, так что я стал его шофером. Я знаю дорожные знаки, вовсе не нужно, чтоб он мне их пояснял. Раз проехав по дороге, я могу узнать ее даже среди ночи. Мы стали как братья — даже ближе. Он позволял Генриетте терзать себя еще пару лет, и всего она родила ему двух дочерей и одного сына. Ничего путного из детей не вышло. Его старшая дочь пять раз разводилась. Другая — злющая старая дева. Сын стал адвокатом при гангстерах. Прежде чем идти на дело, эти головорезы являются к нему, и он учит их, как перехитрить закон. Борис сказал, что я украл лошадь. Я не крал ее. Это была лошадь моего отца. О чем я бишь? Эта Генриетта ни за что не давала ему развод. Зачем ей разводиться с ним, когда она может получить от него все, что хочет? Теперь стало легче избавиться от дурной жены. А в те времена любую енту здесь в Америке считали прям-таки за леди, и ей ничего не стоило поставить своего мужа перед судьей. Борис помешан на женщинах, но меня они не прельщают. Большинство женщин — золотоискательницы. Все, что им надо,— это твои деньги. Мне не по душе их уловки, но Борис любит, чтобы его водили за нос. Он вечно попадается на удочку писательницам, художницам, актрисам и так далее. Когда они донимают его своими гладкими речами из книг, он теряет

** Жена Сократа. Начиная с Ксенофонта, Ксантиппой (явно несправедливо) называют сварливую и взбалмошную супругу.

разум. Расставшись с Генриеттой, Борис переехал в квартиру на Парк-авеню, а я оставил контору и поселился с ним. Сколько раз, приходя домой, он кричал: «Гарри, я больше не могу! Они фальшивы, как языческие боги!» «Избавься от них»,— говорил я. Он падал на колени и клялся своим покойным отцом, что пошлет их к чертям, но на следующий день снова был с одной из них.

«Евнух» — так он меня назвал. Я не евнух. Я нормальный мужчина. Женщины любили во мне меня, а не мои чеки. Откуда у меня чеки? Борис помешан на деньгах. Но по мне дружба дороже миллионов. Я работаю на него даром, как библейский раб. Все, что мне надо,— чтобы он пустил меня на порог и чтобы у меня в ушах не звенело от его крика. Я ничего не получил от него, кроме хлеба, который ем, и постели, в которой сплю. Была одна девушка, которая мне нравилась, и у нас всё могло сладиться, но, когда Борис услышал об этом, он устроил такой шум, словно я собираюсь убить его. «И ты можешь так поступить со мной!» — кричал он. Он обещал сделать меня партнером в деле — что угодно. Он надоедал мне до того, что у меня холодели ноги. Я не любитель книг, но мне всегда нравился театр, я водил ее в еврейский театр. Я видел всех: Адлера, Томашевскую, Кёсслера. Мы с ней были, как говорится, одних мыслей, но я дал Борису разлучить нас. У меня слабый характер. А он настолько же силен, насколько я слаб. Он может заставить вас сделать все, что ему заблагорассудится. Он заставлял жен бросать своих мужей. Он заставлял почтенных матрон вступать с ним в связь. Эта Перл Лейпцигер всего лишь пятое колесо в телеге. Многие его девочки состарились и умерли. Другие болеют. Одну из них он устроил в какую-то клинику. Он хвалится своим желудком. Но беда в том, что его язва так и не зажила. К тому же у него высокое давление. Другой бы на его месте давным-давно умер, но он решил жить до ста лет, а если он что-нибудь решил, то так тому и быть. Была одна актриса по имени Розалия Карп, красивая женщина, настоящая примадонна. У нее был такой голос, что его было слышно на половине Второй авеню. Когда она выходила на сцену и играла Клеопатру, все мужчины влюблялись в нее. В те дни Борис обычно рассказывал мне обо всем. У него не было от меня никаких секретов. Однажды вечером он пришел

домой из театра и сказал: «Гарри, я влюбился в Розалию Карп». «Мазал-тов*,— сказал я,— этого тебе как раз недоставало». «А в чем дело? — спросил он.— Она создана для мужчин, а не для архангела Гавриила». В те годы, если Борис попадался на удочку какой-нибудь женщине, он все время посылал ей подарки — огромные букеты цветов, коробки шоколада, даже меха. Конечно, посредником был я, и трудно сказать, сколько раз Розалия Карп оскорбляла меня. Она даже грозилась позвать директора. Однажды она сказала: «Что ему надо от меня? Мне нет до него дела». Потом она улыбнулась: «Если бы я очутилась на острове с вами двумя, как думаешь, кого бы я выбрала?» На этот раз она говорила со мной ласково и пользовалась всеми своими женскими уловками. Всякий на моем месте знал бы, что делать. Но вероломство не в моем характере.

— Чем же все кончилось — досталась она Борису? — спросил я.

— Что за вопрос! А два года спустя он прогнал ее вон. Таков уж Борис Лемкин.

Машина остановилась возле моего дома у Сентрал-Парк-Уэст. Я хотел выйти, но Гарри сказал:

— Погодите еще немного.

Предрассветная тишина повисла над Нью-Йорком. В светофорах менялся свет, но ни единой машины не проезжало. Гарри сидел, погрузившись в раздумье. Казалось, он постиг, в чем загадка его существования, и теперь пытался разрешить ее. Затем он сказал, обращаясь ко мне и к себе самому:

— Разве можно достать утку сейчас, глухой ночью? Нельзя.

Прошло почти три года. Раз пополудни, сидя в своей конторе за корректурой, я увидел Гарри. Его волосы стали белыми, как платина, но он по-прежнему выглядел молодо. Он сказал:

— Бьюсь об заклад, что вы меня не узнаете. Но...

— Я вас очень хорошо помню, Гарри.

— Я полагаю, вы знаете, что Борис уже больше года как

---

* Традиционное поздравление.

умер.

— Да, знаю, садитесь. Как поживаете?

— О, прекрасно. Все хорошо.

— Я даже знаю, что Борис не оставил вам ни гроша,— сказал я и сейчас же пожалел о том, что произнес эти слова.

Гарри застенчиво улыбнулся.

— Он никому ничего не оставил — ни Перл, никому. Все эти годы он только и говорил о завещании, но так и не составил его. Добрую половину состояния забрал дядя Сэм, а остальное досталось жене, этой стерве, и его детям. Сын, который стряпчий, примчался наутро после смерти отца и вышвырнул меня из квартиры. Он даже пытался ухватить кое-что из моих вещей. Но, как видите, я не умер; я зарабатываю себе на хлеб.

— Что вы поделываете?

— О, я стал официантом. Не в Нью-Йорке. Здесь профсоюз не берет меня, но я устроился на работу в одном отеле в Катскилле. Зимой я отправляюсь в Майами-Бич, и там я — повар в кошерном* отеле. Мои карнацлехи пользуются успехом. Зачем мне его деньги?

Некоторое время мы оба молчали. Потом Гарри сказал:

— Вы, наверное, удивляетесь, зачем я к вам пришёл.

— Нет, вовсе не удивляюсь. Я рад вас видеть.

— Дело вот в чем. У Бориса все еще нет надгробья. Я несколько раз звонил его сыну, чтобы напомнить, но он все обещает — позже, завтра, на той неделе, мол, распоряжусь. Но это только чтобы отделаться от меня я скопил немного денег и решил сам заказать надгробный камень для Бориса. Все же мы были как братья. Однажды какой-то учитель приезжал в наш город и сказал, что то, что случилось, даже Бог не в силах изменить. Разве не так?

— Мне кажется, так.

— После Гитлера может ли Бог повернуть время вспять и сделать так, будто Гитлера не было? Мы с Борисом вместе выросли. Он был неплохим человеком — только суеверным и самолюбивым. Он не написал завещания только из боязни, что от этого он скорее умрет. Мы были вместе более сорока

---

* Кошер — ритуально пригодная к употреблению пища и предмет культа.

лет, и я не хочу, чтобы его имя забылось. Я приехал сегодня в Нью-Йорк похлопотать об этом. Я пошел к резчику по камню и попросил его вырезать надпись на идише. Я мало смыслю в иврите, и Борис тоже. Я хотел, чтобы резчик вырезал: «Дорогой Борис, будь здоров и счастлив там, где ты есть», но этот резчик сказал, что нельзя говорить «будь здоров», обращаясь к мертвому. Мы стали спорить, и я сказал ему про вас — что я вас знаю и что мы однажды вместе встречали Новый год. Он велел мне пойти к вам, и, если вы скажете — все-де в порядке, он вырежет, как я хочу. Вот почему я здесь.

— Боюсь, что резчик прав,— сказал я.— Вы можете сказать мертвому «будь счастлив», если вы верите в загробную жизнь, но здоровье — это принадлежность тела. Как можно желать здоровья разложившемуся телу?

— Вы хотите сказать, что нельзя написать так, как я хочу?

— Гарри, в этом нет никакого смысла.

— Но «здоров» не значит просто здоров. Говорят же « в здоровом теле здоровый дух».

Как ни странно, Гарри стал спорить со мной о словоупотреблении. Благодаря его примерам я впервые осознал, что на идише часто употребляется одно и то же слово для понятий «прочный», «разумный», «здоровый» — gesunt. Я предложил Гарри вместо «здоров» вырезать «доволен», но Гарри сказал:

— Много ночей я лежал без сна и думал. Эти слова пришли мне на ум, и я хотел бы, чтобы надпись была именно такой. Разве написано в Торе, что такие слова запрещены?

— Нет, в Торе нет такого закона, но если кто-нибудь пройдет мимо вашей надписи и прочтет ее, он, скорее всего, улыбнется.

— Пусть его улыбается. Мне-то что. Борис не обращал внимания на насмешников.

— Итак, вы хотите, чтобы я позвонил резчику и высказал ему свое одобрение?

— Если вы не против.

Гарри дал мне телефон резчика по камню. Хотя у меня на столе был телефон, я пошел звонить в другое помещение. Резчик пытался доказать мне, что пожелание здоровья покойнику — своего рода кощунство, но я процитировал

Талмуд и опроверг его. Я чувствовал себя как адвокат, защищающий дело против своей совести. Немного погодя резчик сказал:

— Если таково ваше заключение, я сделаю, как вы сказали.

— Да, я беру это на себя.

Проходя обратно в свою контору, я через открытую дверь увидел Гарри. Он сидел, погрузившись в свои мысли, глядя на Уильямсбургский мост, который был виден из моего окна, и на улицы Ист-Сайда — большинство домов на них было снесено и перестроено или еще перестраивалось. Я сам едва узнавал округу. Золотая пыль опускалась на разрушенные здания, на канавы, на бульдозеры, на подъемные краны, на груды цемента и песка. Я стоял, вглядываясь в профиль Гарри. Как он стал тем, что он есть? Как этот малограмотный человек достиг духовной высоты, которой редко достигают даже мыслители, философы, поэты? В ту новогоднюю ночь, когда я вернулся домой с вечеринки у Перл Лейпцигер в четыре утра, я считал, что проведённые там часы пропали даром. Теперь, почти через три года я получил урок, который никогда не забуду. Когда я сказал Гарри, что надпись будет читаться так, как он хочет, его лицо просияло.

— Спасибо вам, спасибо. Вы сделали мне великое одолжение.

— Вы один из благороднейших людей, когда-либо встречавшихся мне,— сказал я.

— Что я такого сделал? Мы были друзьями.

— Я не знал, что существует такая дружба.

Гарри поглядел на меня вопросительно. Он поднялся, протянул руку и пробормотал:

— Только Бог знает всю истину.

Собственность

Мы сидели в кафе «Ройал» с Максом Пешкиным — так я стану называть его здесь. Я был молод, недавно из Польши, а он был бывшим анархистом, чьи воспоминания только что вышли в трех томах. В тридцатых годах анархизм в Соединенных Штатах уже «выдохся» (по собственному выражению Пешкина), но осталось ещё несколько человек из прежней группы, и они издавали журнал на идише. Макс Пешкин пригласил меня пообедать и принес в подарок свои книги. Он был низкого роста, с густыми молочно-белыми волосами, круглым красным лицом и глазами, в которых еще не было усталости.

Мы ели луковую запеканку со сметаной, пили кофе с молоком, и Пешкин говорил:

— То, что здесь было, все прошло. Наши социалисты совершенно остыли. Они говорят прежние фразы, но того духа в них нет. Что до коммунистов, то они читают каждое утро свой красный листок и повторяют прочитанное как Евангелие. Вчера Бухарин был великим вождем; сегодня он предатель. Если в их газете напишут, что Сталин — враг народа и бешеный пес, они и это станут повторять. Анархисты были другими. Анархизм всегда привлекал людей своей индивидуальностью — даже невежественные анархисты были по-своему независимы. Когда я приехал в Америку в начале девяностых годов, активный анархизм уже приходил в упадок» хотя продолжались толки о митинге протеста на Хаймаркет в Чикаго и о тех четырех повешенных Спайсе, Парсонсе, Фишере и Энгеле. Марксисты взяли верх. Но в еврейском квартале на Лоуэр-Ист-Сайд анархизм все еще процветал. Многие из нас вовсе не желали ждать, пока сконцентрируется капитал и Каутский либо Де Леон объявят, что час революции пробил. Это верно, у нас в Нью-Йорке не было ни одного серьезного теоретика или вождя, но у нас

была литература из Лондона, где царил Кропоткин. Кроме того, к нам часто приезжали гости из России и Германии, порою даже из Испании. На наших митингах всегда было битком народу. Почти все делегаты из России говорили на идише. Мы были достаточно самоуверенны и полагали что, если бросить пару бомб, массы поднимутся как один человек и уничтожат все правительства.

Мне не нужно вам объяснять, что анархизмом называется множество различных теорий и движений. Есть большая разница между Прудоном и Бакуниным. А Штирнер — тот особая статья. До приезда в Америку я был студентом. Я читал всех этих теоретиков — сначала в России, потом в Англии. На Лоуэр-Ист-Сайд почти никто не отличал одного теоретика от другого. Это были эмоциональные анархисты. Они часто говорили: «Вот избавимся от тиранов, и что-нибудь да произойдет» Александр Беркман попал в тюрьму, и его почти забыли, зато Эмма Голдмен и ее проповедь свободной любви производили потрясающее впечатление — особенно на женщин.

Когда вы будете читать мои воспоминания, вам встретятся имена Морис и Либби. Я не мог рассказать всего об этой паре, потому что живы еще люди, знавшие их, и могут догадаться, кого я имею в виду, даже если я изменю имена. Кроме того, надо быть беллетристом, чтобы должным образом оценить эту историю. Мне думается, она может заинтересовать вас. Если у вас есть время и вам больше нечем заняться, я с удовольствием расскажу ее.

— У меня есть время, и мне нечем больше заняться,— заверил я его.

— Прекрасно. Вероятно, лет через пятьдесят все это забудется. Но вы еще молоды. Сколько вам лет? Еще нет тридцати пяти? Мне казалось, вы старше.

— В июле будет тридцать три.

— Ну, вы еще ребенок. С этим Морисом я познакомился в тысяча восемьсот девяносто третьем, либо четвертом, либо даже пятом. Здесь, в Соединенных Штатах, анархисты только разглагольствовали, но в России они уже пылали рвением. Они разделились на десяток групп: «Черное знамя», «Хлебовольцы», «Безначальцы». Наиболее примечательными были «Безмотивники». Они утверждали, что человеку

дозволено убивать, грабить и совершать поджоги, не имея на то никакого мотива — просто назло властям. Я не помню когда, но они бросили бомбу в отель «Бристоль» в Варшаве. Вас тогда еще, должно быть, не было на свете. В Одессе они взорвали какой-то пароход. В Белостоке одна из их бомб убила вождя бундовцев — Эсфирь Рискину. Потом нам стало известно, что некоторые из этих анархистов превратились в обыкновенных бандитов — возможно, они были бандитами с самого начала.

Морис был низкорослым малым с черными глазами и длинными вьющимися волосами. Кроме того, у него была крошечная бородка. Обычно он разглагольствовал на наших митингах. Стыдно признаться, но из всей нашей деятельности снискавшие дурную славу балы на Йом Киппур были наиболее важным мероприятием. Считалось некоей атеистической мицвой* устраивать балы на Йом Киппур — есть некошерную пищу, предпочтительно свинину, только для того, чтобы досадить Вседержителю. Морис был воистину душой этих предприятий — не как танцор, а как пропагандист. Чем он зарабатывал на жизнь? Да, в сущности, ничем. Кормильцем была его жена Либби. Она шила дамские блузки для магазинов. Кажется, шила и мужские рубашки.

Хотя я только что приехал в Америку, я уже преподавал английский на курсах для иностранцев при учебном образовательном центре. Я как раз искал комнату. В пансионе, где я обитал, было ужасно грязно. Кормили там отвратительно. Кто-то сказал мне, что у Мориса есть свободная комната. Он был забавный тип. Он всегда носил пелерину, широкополую черную шляпу и галстук, завязанный бантом. Хотя он был маленьким и щуплым, его речи были зажигательными. Обычно он говорил мягким голосом, но стоило ему начать высказываться о капитализме, как голос его становился визгливым и резким. Он нападал на тех анархистов, которые возлагали свои надежды на пропаганду. Сам он верил только в террор. Жена часто приходила послушать его, но у меня было такое чувство, что она не воспринимала его всерьез. Она была чуть выше, чем он, темноволосая, привлекательная. Ее длинные волосы были

* Заповедь, предписание или религиозный долг.

зачесаны в пучок — она не стриглась коротко, как анархистки. Когда она улыбалась, на ее левой щеке появлялась ямочка. Она часто носила плиссированную юбку и блузку с высоким воротничком. Пока Морис ярился на Рокфеллера, она сидела на скамье в последних рядах и зевала. Иногда она приносила с собой вязанье.

Как-то вечером после его речи я подошел к Морису и спросил, правда ли, что он сдает комнату. Он, казалось, обрадовался и позвал Либби. Они рассказали мне, что у них большая квартира на Атторни-стрит и что они очень рады иметь постояльцем человека из своего круга. В те дни переезд для меня не был проблемой. Мне нужно было лишь уложить чемодан и перенести его с Ривинггон-стрит на Атторни-стрит. Дом, где они жили, был одном из таких районов, который теперь назвали бы трущобой — на третий этаж нужно было подниматься пешком, уборная была в коридоре. Желавший принять ванну должен был идти к парикмахеру, этот парикмахер был одновременно банщиком. Комната, предоставленная мне, была маленькой, окно выходило на улицу, и вся мебель состояла из железной койки. Но что еще мне было нужно? В том пансионе, откуда я съехал, мы спали втроем в одном алькове.

На дверях столовой в их квартире висел лозунг «Собственность — это грабеж» — цитата из Прудона. По стенам висели фотографии Годвина, Прудона, Бакунина, Кропоткина, Иоганна Моста и, конечно же, чикагских мучеников. Возможно, Морис не обошел бы и Штирнера, но фотографий Штирнера не существовало. Книжный шкаф был набит брошюрами об анархизме и социализме. Забыл вам сказать, я ведь был пылким последователем Штирнера. Я изучил не только Штирнера, но и Фейербаха, чьим учеником был Штирнер, пока не взбунтовался. Лично моим идеалом было «сообщество эгоистов». Я желал стать «совершенным эгоистом» — «мировой историей в самом себе»,— готовым «служить себе и всему, что мое». Это все выражения Штирнера. Для Прудона собственность была злом, для Штирнера собственность была сущностью гуманизма. А что такое подлинная терпимость, никто из нас тогда не ведал. Не одобрив лозунг на дверях, я тотчас затеял спор с Морисом. Он только этого и ждал. Он всегда готов был поспорить. Я

без конца цитировал Штирнера, а он цитировал Прудона. Я договорился лишь о комнате и не собирался у них столоваться, но Либби все равно приготовила мне ужин. Мы втроем сидели за столом, и Морис поносил собственность и все, что с ней связано. Он предвидел, что после революции слова «мое» и «твое» будут выброшены из словарей. Я спросил его: «А как же ты сообщишь мужчине добрую весть о том, что его жена родила сына?» И Морис завизжал: «Весь институт брака исчезнет! Он целиком основан на рабстве. По какому праву один человек считает другого своей собственностью?» Он пришел в такое возбуждение, что чуть не перевернул стол. Либби заметила ему: «Твоя тарелка, я хочу сказать, наша тарелка, того гляди, упадет, и наш живот останется пустым. К тому же на наших брюках будут пятна».

Я засмеялся — у этой женщины было чувство юмора. Однако Морис был совершенно серьезен. Он вопил: «Шутишь, да? Все несправедливости и пороки происходят от собственности. Почему империалисты готовы схватить друг друга за горло? В чем причина любой эксплуатации?» В ярости своей он нападал и на Штирнера: «Что это за противоречие — «сообщество эгоистов»?» Я сказал: «А как быть с любовью? Если мужчина любит женщину, он хочет ее для себя, а не для других». «Ревность — противоестественное чувство,— ответил Морис,— это продукт феодализма и капитализма. В древние времена люди жили общиной и все дети принадлежали общине». «Откуда ты знаешь,— спросила Либби,— ты что, был там?» И Морис ответил: «Это установленный факт». Он помянул Бокля или еще какого-то историка. Мы продолжали спорить до часу ночи. Либби тем временем мыла посуду. В дверях кухни она сказала: «Я до смерти устала. Вы не можете отложить свою дискуссию до утра? Она не зачерствеет». Морис был так возбужден, что даже не ответил ей. Она сказала: «В таком случае я иду спать». Потом, повернувшись ко мне, она добавила: «Ваша постель — я хочу сказать, наша постель — разобрана».

— Она стала вашей любовницей? — спросил я.

Макс Пешкин поднял брови.

— У вас и впрямь интуиция. Но не торопитесь. Иной раз нужно и потерпеть.

Забыл вам сказать, что после ужина я слегка по-

препирался с Либби. Я спросил о стоимости пищи, и она оскорбилась. «Я вам не кухарка,— сказала Либби,— я пригласила вас как друга». На следующее утро она позвала меня завтракать, и я сказал: «Одно дело, когда тебя однажды приглашают, и совсем другое — постоянно есть задаром». Я зарабатывал пять долларов в неделю, это считалось вполне приличным заработком. Я сказал, что не стану с ними есть до тех пор, пока она не назначит цену за питание. После некоторых препирательств мы как-то договорились. Мне было разрешено платить за еду. Через несколько дней мы чувствовали себя старыми друзьями. Я ходил на рынок возле Орчард-стрит покупать дешевые продукты. Я разносил ее работу по магазинам, которым она шила. Она неплохо знала русский и польский, но ее английский был слаб, и я предложил ей частные уроки. Теперь она желала платить мне, и мы вновь поспорили. Все мы были молоды, но не сознавали этого.

Поскольку я по природе ревнив, я не способен был и вообразить, что кто-нибудь может не ревновать. Я очень заботился о том, чтобы не возбудить в Морисе ревность. Но он, казалось, был счастлив от того, что мы с Либби подружились. Раз, когда я сказал ему, что хочу прогуляться, он предложил Либби пойти со мной. Либби покраснела и сказала: «Что за дела? Может быть, он хочет побыть один». «Вздор,— сказал Морис,— вместе веселей». В другой раз, когда у меня случилось два билета в еврейский театр, он попросил меня взять с собой Либби. «Она целыми днями сидит за швейной машинкой — пусть немного развлечется». Я взял ее в театр, и мы видели Якоба Адлера — Большого Орла, как его называли, в мелодраме Гордина. Потом мы пошли на Гранд-стрит есть кныши. На улицах толпился народ, раскупавший завтрашнюю еврейскую газету, передовые статьи из которой обсуждались с таким же удовольствием, как пьесы, ставившиеся на Второй авеню. Домой мы пришли поздно. Морис сиял от удовольствия. Он готовил какую-то речь о товарообмене в свободном обществе. Перед тем как идти спать, Либби сказала мне: «Спасибо вам за вечер». «Одного спасибо мало»,— сказал Морис. «Что же еще прикажешь делать — упасть ему в ноги?» И Морис сказал: «По крайней мере он заслужил

поцелуй». «Я не так воспитана, чтоб целовать посторонних мужчин, — сказала Либби,— но, если ты настаиваешь, я могу». Она подошла, взяла меня обеими руками за щеки и поцеловала в губы. Должен вам сказать, что я к тому времени был еще девственником. У меня были любовные истории, но все они были романтическими и платоническими. На Атторни-стрит, прямо напротив нашего дома был бордель, но тамошние женщины вызывали во мне отвращение. Кроме того, как может идеалист прибегать к услугам белых рабынь? Это капиталистический институт, забава для Моргана и компании.

В этот вечер Морис утомился и пошел спать одновременно с Либби. В моей комнате горела газовая лампа. Несколько раз случалось так, что я засыпал, не погасив лампу. Тогда моя дверь отворялась, и появлялась Либби в ночной рубашке и шлепанцах. Распущенные волосы падали ей на плечи. Она говорила: «Если вы не читаете, я выключу лампу. Жалко переводить газ». И она улыбалась, подмигивая мне.

Прошло более сорока лет с того вечера, но мне кажется, что это было вчера. В те годы стоило мне положить голову на подушку, и я засыпал. Но в ту ночь я был слишком взволнован. Этот поцелуй возбудил меня — не столько сам поцелуй, сколько то, как она держала мое лицо. Ее руки были теплыми, почти горячими.

И все равно немного погодя я заснул. Стояла зима, и ночи были длинными. Я проснулся и не знал, сколько я проспал — час или шесть часов. Уличный фонарь освещал комнату. Вдруг я увидел Либби. Она стояла возле моей постели. Несмотря на то что я считал себя вольнодумцем, несколько секунд мне казалось, что это некий демон женского пола — один из духов Лилит, которые соблазняют мальчиков из ешивы. Я сказал: «Либби?» Она наклонилась, и в ее шепоте прозвучали одновременно страсть и насмешка: «Пусти меня в постель. Мне холодно». Я чуть не умер от испуга. У меня стучали зубы. «Где Морис?» — спросил я. «Он мне разрешил,— сказала Либби.— Он не желает владеть никакой собственностью».

Попади я в такую переделку теперь, со мной наверняка случился бы сердечный приступ, но тогда мне было двадцать

три года, и кровь моя кипела. Я забыл о всех запретах. Когда-то я читал о том, как один человек, который был вынужден поститься сорок дней, съел крысу. Есть такого рода ощущение опасности, которое убивает все прочие чувства. Только через полчаса, когда она ушла от меня, я понял, что мы натворили. Но я был так изнурён, что сон одолел меня. На следующее утро мы втроем, как обычно, завтракали на кухне, и Морис выглядел торжественным, почти счастливым. Он сказал: «Я не могу проповедовать одно, а практиковать совсем другое. Меж нами — братство». В те дни мы не знали того, что знаем сегодня. Но я уже тогда читал Фореля, или, возможно, это был Эбинг — не помню точно, но я понимал, что это не совсем альтруизм. Бывают мужчины, а также женщины, испытывающие потребность поделиться. Мне чертовски повезло; у меня было все сразу — комната, еда, любовница. Морис подавлял меня своим дружелюбием. Он превозносил меня до небес. Он даже целовал меня. Когда он произносил какую-нибудь речь, мы с Либби должны были сидеть в переднем ряду. И он всегда находи повод процитировать меня. Он готов был уступить мне во всем, за исключением Штирнера. Он все еще беспощадно критиковал его. В те времена Штирнер не был еще переведен на идиш, и наши товарищи мало что знали о нем. Однако Морис нападал на него по любому поводу. В сущности, благодаря Морису Штирнер стал известен на Лоуэр-Ист-Сайд.

Прошло два года, и они показались мне счастливейшими годами. Вскоре я стал отдавать свое жалованье — «пейди», как мы называли чек на нашем американском идише,— Либби. И она творила чудеса с этими пятью долларами. У меня даже было впечатление, что мне стали больше платить. Она кормила меня, покупала одежду и баловала. Такие вещи не скроешь. Лоуэр-Ист-Сайд походил на небольшое местечко. Кроме того, Морис не скрывал нашей связи. На деле он даже хвастал ею. Наши товарищи были заняты ее обсуждением. Все они задавали один и тот же вопрос: что будет, если родится ребенок? Но мы очень старались, чтобы он не родился.

Вскоре все это превратилось в повседневность и я заметил, что Либби стала менее пылкой. Обитатели Атторнистрит злословили на наш счет. У Либби были ландслейты, и

они написали ее родственникам, оставшимся в покинутой нами стране, о мерзостях, которые мы творили. Кое-кто даже грозил депортаций. Мы строили планы о переселении на Запад. Где-то в Орегоне существовали остатки подлинных коммун, основанных социалистами и утопистами. Коммуны разваливались оттого, что у каждого из их членов собственные идеи не только относительно того, как освободить человечество, но и относительно того, как копнить сено и доить коров. Многие обленились и отказывались работать. Некоторые сошли с ума. И среди этих планов — сенсация: некий русский революционер, приговоренный к двадцати годам каторги в Сибири, ухитрился бежать и, проплутав недели и месяцы по лесам и тундрам, добрался до Америки. Он достиг Тихого океана и, по слухам, без билета проник на грузовое судно, направлявшееся в Сан-Франциско. Вы мне не поверите, но сейчас я не могу вспомнить, как он называл себя. Барушин, что ли? Нет. Калужин? Тоже нет. Вот она старость — забываешь имена. Я говорю о нем в своих воспоминаниях. Оказалось, что он вовсе никакой не революционер, а уголовник — лгун и мошенник. Он был приговорен не за то, что бросил бомбу, как нам рассказывали, а за грабеж. Но не будем ставить телегу впереди лошади. Тогда он казался нам столпом революции, и вот он приехал в Нью-Йорк и не разглашает свое подлинное имя, потому что намерен вернуться в Россию. Еврейская пресса напечатала объявление о том, что он будет выступать в одном из самых больших залов в центре города. Намекали даже на то, что он — взбунтовавшийся отпрыск русских аристократов. Все было ложью. Кроме одного: он был великороссом, не евреем — огромным малым, белокурым, голубоглазым и говорил он на правильном русском языке. В глазах наших товарищей это было знаком особого отличия. Слишком многие гости из России были нашими братьями — низкорослыми и темноволосыми,— все они говорили по-русски с акцентом. Слава приезжего была так велика, что сотни верных, пришедших слушать его, не были допущены в зал. Они остались стоять снаружи — и я среди них. Случилось так, что я опоздал. Морису было поручено представлять его, и у Либби было место в первом ряду. Естественно, я не мог

расслышать, что он говорит, но у этого московита был львиный голос. Я вспоминаю, что, послушав этот голос в течение десяти минут, я сказал кому-то из стоявших рядом: «Он такой же революционер, как я татарин».

Возможно, вам удастся написать об этом целый роман, но я вам сообщу лишь простые факты. Либби влюбилась в него. Она мне сказала об этом потом: она, по её словам, раз взглянула на него и поняла, что участь её решена.

Странно, я помню во всех подробностях, как начиналась наша связь, но забыл, каким образом она оборвалась. Кажется, я вовсе не ночевал в тот вечер у Мориса. Вполне возможно, что Морис повез московита после лекции домой, а мне пришлось идти куда-то ещё. Всё случилось так неожиданно. Сегодня дом Мориса бы для меня всем, а на другой день мне пришлось сложить свои пожитки и уйти. Они оба были без ума от него — и Морис, и Либби,— Морис даже больше, чем она. Теперь когда существует Фрейд, у нас по крайней мере есть названия для таких поступков. Таков уж человек — если у него есть название для какой-нибудь вещи, она перестает быть для него загадкой. Но тогда у нас не было эти названий. А если и были, то я их не знал. Я помню, как нес свой чемодан, спускаясь по лестнице к Восточному Бродвею, останавливаясь на каждом шагу. Я был изгнан из рая, даже не ведая, в чем мой грех.

Через несколько месяцев этот самозванец был разоблачен. Из России пришли письма, опровергавшие все его притязания. Но к этому времени я очнулся. Я сообразил, что такие люди, как Морис, поклоняются героям. Живя с ним, Либби стала такой же, как он. Я понял, что, раз они так легко променяли меня на кого-то другого, значит, с самого начала все было достаточно непрочно. Что хорошего для себя может ожидать молодой человек, живя с порочной четой? Вскоре после этого я встретил женщину, которая стала моей женой и матерью моих детей. Она умерла не так давно.

Что сталось с Либби и Морисом? Они развелись. Земля и небо вступают в сговор против таких союзов. Либби вышла замуж за пожилого фармацевта. Морис уехал, если не ошибаюсь, в Орегон и протянул там до той поры, пока колония не распалась. Он вернулся с какой-то безобразной женщиной, которая была старше его. И Морис, и Либби

совершенно отошли от движения. Много лет спустя я встретил его в Майами-Бич. Я искал сносную квартиру, и мне рекомендовали один дом на Меридиан-авеню. Я вошел в холл и увидел Мориса, он и был домовладельцем. Какая-то женщина из квартиросъемщиц ругалась с ним, потому что у неё не было горячей вода. Он стал жирным и дряблым и одет был, как одевались в Майами-Бич — в шорты и розовую рубашку в цветочек. Кроме того, он облысел.

Некоторое время я стоял и слушал, а потом подошёл к нему и сказал: «Морис, дорогой, “Собственность — это грабёж”».

Он бросился мне на шею и заплакал, как дитя. Он уже развелся со второй женой и вновь женился. Он предложил мне квартиру за гроши. Его жена похвалялась передо мной, говоря, что ее креплехи известны всему свету. Но мне был не по душе этот вздор. Кроме того, его третья жена была еще безобразнее второй. Они оба уже умерли.

— Что сталось с Либби? — спросил я.

Макс Пешкин прикрыл глаза:

— И она уже в том лучшем мире, который мы все тщимся построить.

Ханка

В этой поездке с самого начала было мало смысла. Во-первых, в финансовом отношении мне было невыгодно оставлять Нью-Йорк и свою работу на два с половиной месяца, чтобы отправиться с лекциями в Аргентину, во-вторых, мне следовало лететь самолетом вместо того, чтобы попусту тратить время на пароходе в течение восемнадцати дней. Однако я подписал контракт и согласился взять у моего импресарио Хацкеля Поливы билет на поездку туда и обратно в первом классе парохода «Ла Плата». В то лето жара затянулась до октября. Когда я поднимался на борт корабля, термометры показывали 90 градусов*. Меня всегда одолевали предчувствия и страхи перед путешествием: вдруг у меня начнется морская болезнь, потонет пароход или случится еще какое-нибудь бедствие. Внутренний голос предупреждал меня: «Не езди!» Однако, если бы я имел обыкновение поступать в соответствии с этими предчувствиями, я бы никогда не приехал в Америку и погиб бы в оккупированной нацистами Польше.

По счастью, мне были обеспечены все удобства, какие только возможны. Моя каюта больше походила на гостиную — с двумя квадратными окнами, диваном, письменным столом и картинами на стенах. В ванной комнате была и ванна, и кабинка для душа. Пассажиров было немного, в большинстве своем латиноамериканцы» а штат обслуживающего персонала велик. В столовой у меня был особый официант, который тотчас доливал вино в мой бокал, стоило мне отхлебнуть. Оркестр из пяти музыкантов играл за обедом и ужином. Через день капитан устраивал вечеринки с

* По Фаренгейту.

коктейлями. По какой-то причине мне не удалось ни с кем сойтись на этом корабле. Несколько пассажиров, говоривших по-английски, держались особняком. Мужчины, все молодые гиганты, в шесть футов, играли в шафлборд* и резвились в бассейне. Женщины были, на мой вкус, слишком высокими и атлетически сложенными. По вечерам все они танцевали или сидели в баре — пили и курили. Я решил остаться в изоляции, и казалось, что все почувствовали это. Никто не сказал со мной ни слова. Я начал задаваться вопросом, не сделался ли я посредством некоей магии невидимкой. Через некоторое время я перестал посещать вечеринки с коктейлями и попросил, чтобы еду мне подавали в каюту. На Тринидаде и в Бразилии, где корабль стоял по целому дню, я прогуливался в одиночестве. Я взял с собой мало книг, уверенный в том, что на корабле будет библиотека. Но она вся состояла из одного-единственного шкафа с застекленными дверцами, в котором было около пятидесяти книг на испанском и около дюжины на английском — в основном устаревшие путеводители, напечатанные лет сто назад. Этот шкаф был все время заперт, и каждый раз, когда я хотел сменить книгу, начиналась суета — у кого ключ. Меня посылали то к тому, то к другому. В конце концов какой-нибудь офицер в эполетах записывал мое имя, номер моей каюты, названия и фамилии авторов моих книг. На это у него уходило по крайней мере пятнадцать минут.

Когда корабль приблизился к экватору, я перестал выходить на палубу в дневное время. Солнце жгло как огонь. Дни стали короче, и ночи наступали скорей. Только что был свет, и через миг темно. Солнце не садилось, а падало в море, как метеор. Поздно вечером, когда я ненадолго выходил на палубу, горячий ветер бил мне в лицо. Из океана доносился рев страстей, прорвавшихся, казалось, через все преграды: «Мы должны плодиться и размножаться! Мы должны истощить все похоти!» Волны алели, как лава, и я воображал, Что вижу множество живых существ — водорослей, морских чудовищ,— смешавшихся в некоей оргии от поверхности воды до морского дна. Бессмертие здесь было законом. Вся планета живительно бушевала. Временами я слышал свое имя в этом немолчном шуме: дух бездны звал меня принять

* Настольная игра с передвижением деревянных кружочков по размеченной доске.

участие в их ночной пляске.

В Буэнос-Айресе меня встретили Хацкель Полива — низкорослый, пухлый субъект — и молодая женщина, которая представилась мне моей родственницей. Её звали Ханка, и она была, по ее словам, правнучкой моей тети Ентель от первого мужа. На самом деле Ханка не была мне родней, потому что мой дядя Аарон был третьим мужем Ентель. Ханка была маленькой, худощавой, с копной черных как смоль волос, с полными губами и глазами, черными, как оникс. На ней было темное платье и черная широкополая шляпа. Ей можно было дать лет тридцать — тридцать пять. Ханка тотчас сообщила мне, что в Варшаве кто-то прятал ее в арийском квартале — так она спаслась от нацистов. Она сказала что она танцовщица, но я понял это еще до её слов, взглянув на мускулы ее икр. Я спросил ее, где она танцует, и Ханка ответила: «Я танцую лишь по случаю еврейских праздников и от собственных невзгод».

Хацкель Полива отвез нас на своей машине в отель «Космополитен» на улице Хунин, которая когда-то была известна как главная улица квартала красных фонарей. Полива сказал, что округу основательно почистили и что все литераторы останавливаются теперь в этом отеле. Мы ужинали втроем в ресторане на улице Корриентес, и Хацкель Полива вручил мне расписание моего четырехнедельного пребывания в Аргентине. Я должен был выступать в Буэнос-Айресе в театре Солей и в центре еврейской общины, а также поехать в Розарио, Мар-дель-Плата и в еврейские колонии в Моизес-Вилле и Энтре-Риосе. Варшавское общество, еврейская секция ПЕН-клуба, журналисты и газетчики, печатавшие мои статьи, и несколько еврейских школ — все готовили мне приемы.

Когда мы с Поливой на минуту остались вдвоем, он спросил:

— Кто эта женщина? Она сказала, что танцует на еврейских праздниках, но я никогда не видел ее ни на одном. Пока мы ждали вас, я предложил ей дать мне свой адрес и телефон на случай, если возникнет необходимость связаться с ней, но она отказалась. Кто она.

— Я, право, не знаю.

У Хацкеля Поливы была еще одна встреча этим вечером и после обеда он оставил нас. Я хотел заплатить по счету — почему он должен платить за женщину,

которая якобы приходится мне родственницей,— но он не позволил. Я заметил, что Ханка ничего не ела — она лишь выпила бокал вина. Она провожала меня обратно до отеля. Все это было вскоре после свержения Перона, я в Аргентине был разгар политического, а возможно, и экономического кризиса. Казалось, в Буэнос-Айресе не хватает электроэнергии. Улицы были тускло освещены. Всюду патрулировали жандармы с автоматами. Ханка взяла меня под руку, и мы пошл вдоль улицы Корриентес. Внешне, сколько я мог судить, Ханка ничем не напоминала мою тетю Ентель, но у нее была та же манера говорить, что у тети,— она перескакивала с предмета на предмет, путала имена, названия мест и даты. Она спросила меня:

—Вы впервые в Аргентине? Климат здесь сумасшедший и люди тоже. В Варшаве бывает весенняя лихорадка, а здесь тебя лихорадит круглый год. Когда жарко, ты таешь от жары, когда начинаются дожди, холод пробирает тебя до костей. На самом деле все это одни большие джунгли. Города — это оазисы в пампасах. Многие годы сутенеры и шлюхи заправляли среди еврейских эмигрантов. Позднее их изгнали из общины, и им пришлось построить себе синагогу и обзавестись собственным кладбищем. Евреи, приехавшие сюда после Катастрофы,— потерянные существа. Как случилось, что вас до сих пор не перевели на испанский? Когда вы в последний раз видели мою прабабушку Ентель? Я не знала ее, но она оставила мне в наследство цепочку с медальоном, сделанную лет этак двести тому назад. Я обменяла ее на хлеб. Вот и ваш отель. Если вы не устали, я поднимусь к вам ненадолго.

Мы поднялись в лифте на седьмой этаж. У меня страсть к балконам. В моем номере был балкон, и мы сразу же вышли на него. В Буэнос-Айресе было мало высоких строений, так что нам был виден город. Я вынес Два стула, и мы уселись. Ханка говорила:

—Вы, должно быть, удивляетесь, зачем я пришла вас встречать. Пока у меня были близкие родственники — мать, отец, брат, сестра,— я не очень-то ценила их. Теперь, когда все они — пепел, я тоскую по родне, какой угодно дальней. Я читаю газеты на идише. Вы часто поминаете вашу тетю Ентель в своих рассказах. Неужто она вам и впрямь рассказывала все эти таинственные истории? Небось, вы сами их выдумали. В моей собственной жизни случались такие

вещи, о которых, возможно, не стоит рассказывать. Я одна, совершенно одна.

— Молодой женщине не следует быть одной.

— Это только слова. Бывают такие обстоятельства когда тебя оторвет, словно лист от дерева, и никакая сила не прикрепит обратно. Ветер уносит тебя от твоих корней. Такой человек как-то называется на иврите, но я забыла.

— На-в'над — изгнанник или странник.

— Вот-вот.

Мне казалось, у нас с Ханкой будет короткий роман. Но когда я попытался обнять ее, она как-то съежилась в моих руках. Я поцеловал ее, но губы ее были холодными. Она сказала:

— Я могу вас понять — вы мужчина. Вы найдете здесь вдоволь женщин, если поищете. Вы найдете их даже если не станете искать. Но вы нормальный человек, не некрофил. Я принадлежу к истребленному племени, мы не годимся для секса.

Поскольку выступление в театре Солей было отложено на насколько дней, Ханка обещала вновь прийти завтра вечером. Я спросил номер ее телефона, и она сказала, что телефон у нее сломался. В Буэнос-Айресе, если что-нибудь сломалось, пройдут месяцы, прежде чем вы дождетесь ремонта. Перед уходом Ханка сказала мне почти мимоходом, что, разыскивая родственников в Буэнос-Айресе, она обнаружила еще одного моего родственника — Ехиеля, который сменил свое имя на Хулио. Ехиель был сыном моего двоюродного деда Авигдора. Мы встречались с Ехиелем дважды — раз в местечке Тишевиц и другой раз в Варшаве, куда он приехал лечиться. Ехиель был примерно на десять лет старше меня — высокий, чернявый, истощенный. Я вспомнил, что у него был туберкулез и этот самый дядя Авигдор привез его в Варшаву, чтобы показать специалисту по легочным заболеваниям. Я был твердо убежден, что Ехиель не пережил Катастрофы, и вот мне говорят, что он жив и обитает в Аргентине. Ханка сообщила мне некоторые подробности. Он приехал в Аргентину с женой и дочерью, но потом развелся и женился на девушке из Фрампола, с которой встретился когда-то в концлагере. Он стал разносчиком — это называется в Буэнос-Айресе «быть на

побегушках». Его новая жена совсем неграмотная и боится одна выходить из дома. Она так и не выучила ни слова по-испански. Когда ей нужно сходить в лавку за хлебом или за картошкой, Ехиель должен ее сопровождать. В последнее время он страдал астмой и перестал разносить товары. Он живет на какую-то пенсию — что за пенсия, Ханка не знала: может быть, муниципальная, может быть, от какого-нибудь благотворительного общества.

Я устал после долгого дня и, как только Ханка ушла, повалился на постель и, не раздеваясь, заснул. Через несколько часов я проснулся и вышел на балкон. Странно было находиться в какой-то стране за тысячу миль от моего нынешнего дома. В Америке близилась осень, а в Аргентине — весна. Пока я спал, прошел дождь, и улица Хунин сверкала. Старые дома стояли вдоль улицы; их витрины были забраны железными решетками. Мне были видны крыши и отчасти кирпичные стены зданий на прилегающих улицах. То тут, то там в окнах мерцал красноватый свет. Может быть, кто-нибудь болен? Или умер? В Варшаве, мальчиком, я часто слышал страшные истории о Буэнос-Айресе: какой-нибудь сутенер увлекает бедную девушку, сироту, в этот дурной город и пытается обольстить ее с помощью безделушек и обещаний, а если она не уступает, то с помощью тумаков, таская ее за волосы и втыкая ей в пальцы булавки. Наша соседка Бася часто рассказывала об этом моей сестре Хинде. Бася говорила: «Что может сделать такая девица? Ее увозят на корабле, посадив на цепь. Она уже лишилась невинности. Ее продают в бордель, и она должна делать то, что ей скажут. Рано или поздно в ее кровь попадает червячок, а с ним ей долго не прожить. Через семь лет бесчестья ее волосы и зубы выпадают, нос сгнивает, отваливается и — представление окончено. Поскольку она была скверной женщиной, ее хоронят за оградой». Я помню, как моя сестра спросила: «Живьем?»

Теперь Варшава уничтожена, а я сам очутился в Буэнос-Айресе, в том самом квартале, где, говорят, случались такие вот печальные истории. И Бася, и моя сестра Хинда были мертвы, а я был не маленьким мальчиком, а пожилым писателем, приехавшим в Аргентину распространять культуру.

Дождь шел весь следующий день. Возможно, по той же причине, по которой не хватало электричества, телефон тоже

плохо работал. Какой-то человек говорит со мной на идише, и вдруг я слышу женский смех и пронзительный крик на испанском. Вечером пришла Ханка. Мы не могли выйти на улицу, и я заказал ужин в номер. Я спросил у Ханки, что она будет есть, и она ответила:

— Ничего.

— В каком смысле ничего?

— Чашку чая.

Я не послушал ее и заказал что-то мясное ей и что-то вегетарианское для себя. Я съел все, Ханка едва прикоснулась к еде на тарелке. Словно из тети Ентель, из нее так и сыпались истории.

Все в доме знали, что он прячет еврейскую девушку. Жильцы, несомненно, знали. Арийский квартал кишел шмальцовниками — так называли тех, кто вымогал у евреев последние гроши, обещая защитить их а потом доносил на них нацистам. У моего поляка — его звали Анджей — вовсе не было денег. В любой момент кто-нибудь мог известить гестапо, и нас бы всех расстреляли, меня, Анджея, Стасика, его сына, и Марию, его жену. Что я говорю? Расстрел считался легким наказанием. Они бы стали нас пытать. Все квартиранты могли заплатить жизнью за такое преступление. Я часто обращалась к нему: «Анджей, милый, ты и так довольно сделал. Я не хочу навлечь на вас всех беду». Но он говорил: «Не ходи, не ходи. Я не могу послать тебя на смерть. Может быть, все же Бог есть». Меня прятали в отгороженной нише без окна; они придвинули платяной шкаф к двери, чтобы скрыть вход. Они вынимали одну из досок в задней стенке шкафа и через это отверстие передавали мне еду и, простите, выносили за мной горшок. Когда я гасила свою лампочку, становилось темно как в могиле. Он приходил ко мне, и остальные двое — жена и сын — знали об этом. У Марии была какая-то женская болезнь. Их сын тоже был болен. Еще ребенком он заболел не то золотухой, не то зобом и не нуждался в женщине. Мне кажется, у него даже не росла борода. У него была единственная страсть — читать газеты. Он читал все варшавские газеты, не пропуская даже объявлений. Удовлетворял ли меня Анджей? Я не искала удовлетворения. Мне было приятно доставить ему облегчение. Я слишком много читала, и зрение мое ослабло. У меня начались такие запоры, что помогала только касторка. Да, я лежала в своей

могиле. Но если ты лежишь в могиле достаточно долго, ты привыкаешь к ней тебе уже не хочется с ней расставаться. Анджей дал мне пилюлю Цианида. Его жена и сын тоже носили с собой такие пилюли. Все мы жили бок о бок со смертью, и я должна вам сказать, что в смерть можно влюбиться. А тот, кто полюбил смерть, ничего больше не полюбит. Когда пришло освобождение и мне сказали, чтобы я выходила, я не желала выходить. Я уперлась в притолоку, как бык, которого тащат на бойню.

Как я попала в Аргентину и что у нас было с Хосе — эта история для другого раза. Я не обманывала его, я ему сказала: «Хосе, если твоя жена кажется тебе недостаточно живой, зачем тебе труп?» Но мужчины не верят мне. Если они видят, что женщина молода, не уродина, да еще танцует, может ли она быть мертвой? К тому же у меня вовсе не было сил работать на фабрике вместе с испанскими женщинами. Он купил мне дом, который стал моей второй могилой — затейливой могилой с цветами в горшках, безделушками, роялем. Он приказывал мне танцевать, и я танцевала. Чем это хуже вязания свитеров или пришивания пуговиц? Целыми днями я сидела одна и ждала его. Вечером он приходил, пьяный и раздраженный. Иной раз он говорил со мной и рассказывал мне истории, а на следующий день молчал как немой. Я знала, что рано или поздно он вовсе перестанет говорить со мной. Когда это случилось, я не удивилась и не пыталась его разговорить, ибо это было предопределено. Он промолчал целый год. Наконец я сказала ему: «Хосе, ступай». Он поцеловал меня в лоб и ушел. Я никогда его больше не видела.

Мое турне срывалось. Встреча в Розарио была отменена, потому что у президента тамошней организации случился сердечный приступ. В совете правления центра еврейских общин в Буэнос-Айресе произошла ссора из-за политики, и выдача субсидий, обещанных колониям на проведение моих выступлений, была задержана. В Мар-дель-Плата помещение, где я должен был выступать, внезапно кто-то занял. Вдобавок к проблемам, связанным с турне, погода в Буэнос-Айресе ухудшалась день ото дня. Сверкали молнии, гремел гром, и из провинций приходили известия об ураганах и наводнениях. Почта, казалось, тоже не действовала. Из Нью-

Йорка мне должны были прислать авиапочтой корректуру новой книги, но корректура не приходила, и я волновался, вдруг книгу напечатают без окончательной правки. Как-то раз я застрял в лифте между пятым и шестым этажами, и прошло около двух часов, прежде чем меня вызволили. В Нью-Йорке уверяли, что в Буэнос-Айресе у меня не будет сенной лихорадки, потом что там весна. Однако я без конца чихал, из глаз текли слезы, горло перехватывало спазмами, а у меня даже не было с собой моих антигистаминов. Хацкель Полива перестал мне звонить, и я подозревал, что он, того гляди, вообще отменит турне. Я был готов вернуться в Нью-Йорк, но как я мог получить сведения об отправлении парохода, когда телефон не работал, а я не знал ни слова по-испански.

Ханка приходила ко мне в номер каждый вечер, всегда в одно и то же время — мне даже представлялось, что в одну и ту же секунду. Она входила бесшумно. Подниму глаза — и вот она стоит в сумраке — виденье, обрамленное тенями. Я заказывал обед, а Ханка начинала свой монолог, спокойно и монотонно, как, бывало, тетя Ентель. В один из вечеров Ханка рассказывала о своем детстве в Варшаве. Они жили на улице Козля в нееврейском районе. Ее отец, фабрикант, всегда был в долгах — на краю банкротства. Мать покупала платья в Париже. Летом они отдыхали в Сопоте, зимой — в Закопанах. Брат Ханки Здислав учился в частной школе. Ее старшая сестра Ядзя любила танцевать, но мать решила, что это Ханке следует стать новой Павловой или Айседорой Дункан. Преподавательница была садисткой. Сама безобразная и увечная, она требовала совершенства от своих учениц. Глаза у нее были как у ястреба, и шипела она как змея. Она насмехалась над Ханкиным еврейством. Ханка говорила:

— У моих родителей было одно-единственное средство против всех наших бед — ассимиляция. Мы должны были стать стопроцентными поляками. Но какие из нас поляки, когда мой дед Ашер, сын твоей тетки Ентель, не умел даже говорить по-польски. Всякий раз, когда он навещал нас, мы прямо-таки умирали от стыда. Мой дед по матери, Юдель, говорил на ломаном польском. Однажды он мне сказал, что мы происходим от испанских евреев. Их изгнали из Испании в пятнадцатом веке, и наши предки сначала забрели в Германию, а во время Столетней войны, в Польшу. Я

ощущала еврейство в крови. Ядзя и Здислав — оба белокурые и синеглазые, а я была темноволосой. С ранних лет я стала задумываться над вечными вопросами: зачем человек родится? Зачем непременно умирает? Чего хочет Бог? Почему так много страдания? Мать требовала, чтобы я читала польские и французские популярные романы, но тайком заглядывала в Библию.

В Книге Притч я прочла слова: «Миловидность обманчива, и красота суетна», и я влюбилась в эту книгу. Возможно, потому, что меня заставляли боготворить свое тело, я развила в себе ненависть к плоти. Мать и сестра восторгались красотой киноактрис. В школе танцев вечно говорили о талии, бедрах, ногах и грудях. Если девица поправлялась всего лишь на четверть фунта, преподавательница устраивала сцену. Все это представлялось мне мелким и вульгарным. От бесконечных танцев у нас на ногах появлялись мозоли и набухали мышцы. Меня часто хвалили за успехи в танцах, но я была одержима дибуком какого-то старого талмудиста, одного из тех белобородых стариков, которые часто приходили к нам просить милостыню и которых наша служанка гнала прочь. Мой дибук обычно спрашивал: «Перед кем ты собираешься танцевать? Перед нацистами?» Незадолго до войны, когда польские студенты охотились на евреев в Саксонском саду и моему брату Здиславу приходилось стоять на лекциях в университете, поскольку он отказывался сидеть на скамьях гетто, брат стал сионистом. Но мне представлялось, что эти деловые евреи в Палестине тоже стремятся подражать гоям. Мой брат играл в футбол. Он был членом спортивного клуба Маккавеев. Он поднимал тяжести для укрепления мускулов. Как ужасно, что всем моим родным, так сильно любившим жизнь, суждено было умереть в концлагерях, а мне — попасть в Аргентину.

Я быстро выучила испанский — казалось, слова сами входили в меня. Я пыталась танцевать на еврейских праздниках, но здесь бессмысленно чем-либо заниматься. Здесь верят, что с созданием еврейского государства наши беды окончатся раз и навсегда. Ни на чем не основанный оптимизм. Мы окружены там ордами врагов цель которых та же, что и у Гитлера,— истребить нас. Десять раз это им не удастся, но на одиннадцатый — катастрофа. Я вижу, как евреев загоняют в море. Я слышу вопль женщин и детей.

Отчего самоубийство считается таким грехом? Сама-то я чувствую, что величайшая добродетель как раз в том, чтобы оставить тело со всеми его прегрешениями.

В тот вечер, когда Ханка уходила, я не спросил её когда она придет опять. Мое выступление в театре Солей было объявлено на следующий день, и я ожидал что Ханка придет на него. Я мало спал накануне ночью, так что лег в постель и тотчас заснул. Я проснулся с таким чувством, словно кто-то шепчет мне в ухо. Я пытался включить лампу возле постели, но она не включалась. Я стал нащупывать стенной выключатель, но не мог его найти. Вечером я повесил свою куртку с паспортом и дорожными чеками на спинку стула, стул исчез. Неужто меня ограбили? Я ощупью кружил по комнате, как слепой, спотыкаясь, и ушиб колено. Через некоторое время я наткнулся на стул. Никто не тронул моего паспорта и моих чеков. Но мое уныние ничуть не рассеялось. Я знал, что мне приснился дурной сон, и стоял в темноте, стараясь припомнить его. Стоило мне закрыть глаза, и в ту же секунду я оказывался среди мертвых. Они вытворяли что-то неописуемое. Их речи были безумны. «Я больше не пущу ее в номер,— прошептал я.— Эта Ханка — мой ангел смерти».

Я уселся на край постели, закутав одеялом плечи, и пытался разобраться в том, что творится у меня на душе. Эта поездка всколыхнула во мне все мои тревоги. Я не приготовил никаких заметок для своей лекции «Литература и сверхъестественное» и опасался, что внезапно лишусь дара речи. Мне мерещилась кровавая революция в Аргентине, атомная война между Соединенными Штатами и Россией и становилось до отчаяния тошно. Дикий вздор лез мне в голову: что если я лягу в постель, а там крокодил? Что если земля расколется на две части и моя часть улетит к другим созвездиям? Что если, уехав в Аргентину, я на деле отправился на тот свет? У меня было жуткое чувство, что Ханка находится здесь. В левом углу комнаты я видел силуэт, некий сгусток, выделявшийся из окружающей тьмы и принимавший форму какого-то тела — плечи, голова, волосы. Хотя я не мог различить лица, я чувствовал, что притаившийся призрак насмехается над моим малодушием. Отец Небесный, эта поездка пробудила все страхи, испытанные в пору учения в хедере, когда я боялся спать один, что вокруг моей постели ползали чудовища, хватая меня за пейсы и визгливо крича наводящими ужас голосами.

В страхе своем я стал молить Бога, да не даст мне впасть в руки нечистого. Должно быть, молитва моя была услышана, ибо внезапно включилась лампа. Я увидел в зеркале свое лицо — белое, как после дурноты. Я подошел к двери увериться, что она заперта. Потом проковылял обратно в постель.

На следующий день я выступал в театре Солей. Помещение наполнилось людьми, несмотря на проливной дождь на улице. Я увидел много знакомых лиц среди публики и едва верил своим глазам. В самом деле, я не мог припомнить их имена, но эти люди напоминали моих друзей и знакомых из Билгорея, Люблина, Варшавы. Возможно ли, чтобы всем им удалось спастись от нацистов и прийти на мою лекцию? Обычно, когда я говорю о сверхъестественном, публика меня прерывает и даже порой выражает недовольство. Но здесь, когда я кончил говорить, наступила зловещая тишина. Я хотел спуститься в аудиторию и поздороваться с этими воскресшими образами моего прошлого. Но Хацкель Полива увел меня со сцены, и к тому времени, как я добрался до зрительного зала, верхний свет был уже погашен, а кресла пусты. Я сказал себе: «Не обратиться ли теперь к духам?» Словно угадав мои мысли, Полива спросил:

— Где же ваша так называемая родственница? Я не видел ее в зале.

— Да, она не пришла.

— Я не хочу вмешиваться в ваши личные дела, но сделайте мне одолжение — избавьтесь от нее. Не к добру она ходит за вами следом.

— Не к добру. Но почему вы об этом говорите?

Хацкель Полива заколебался.

— Она пугает меня. Она принесет вам несчастье.

— Вы верите в такие вещи?

— Поработайте тридцать лет импресарио, и вы тоже поверите.

Пока я дремал, наступил вечер. Было ли это в день лекции или через несколько дней? Я открыл глаза и у моей постели стояла Ханка. Я заметил смущение в её глазах, словно она знала о моем состоянии и чувствовала себя виноватой. Она сказала:

— Нынче вечером нам следует пойти к вашему родному брату Хулио.

Я собирался сказать ей: «Я больше не мот, видеть»,—

однако спросил:

— Где живет Хулио?

— Неподалеку. Вы говорили, что любите пройтись.

По обыкновению мне следовало пригласить её поужинать, но у меня не было никакого желания задерживаться с ней допоздна. Может быть, Хулио предложит нам что-нибудь поесть. В полусне я поднялся мы вышли на улицу Корриентес. Горели лишь редкие фонари, и вооруженные солдаты патрулировали улицы. Все магазины закрылись. Была атмосфера комендантского часа и черной субботы. Мы шли молча, подобно поссорившейся парочке, которой все еще приходится делать совместные визиты. Корриентес — один из самых длинных бульваров в мире. Мы шли около часа. Каждый раз, когда я спрашивал, далеко ли мы от нашей цели, Ханка отвечала, что нам нужно еще немного пройти. Через некоторое время мы свернули с Корриентес. Должно быть, Хулио жил на окраине. Мы проходили мимо фабрик — фабричные трубы не дымили, и на окнах были решетки,— мимо темных гаражей и складов с плотно закрытыми окнами, мимо пустырей, заросших сорняками. Несколько жилых домов из попавшихся нам навстречу казались старыми, их внутренние дворики были окружены заборами. Я чувствовал себя напряженно и искоса поглядывал на Ханку. Я не мог различить ее лица — лишь два темных глаза. Незримые собаки лаяли, незримые коты мяукали и завывали. Я не был голоден, но рот мой наполнился какой-то безвкусной влагой. Подозрения обрушивались на меня, как саранча. Быть может, это мой последний путь? Не ведет ли она меня в пещеру с убийцами? Может быть, она ведьма и скоро я увижу ее гусиные лапы и свиное рыло?

Как будто сообразив, что от ее молчания мне не по себе, Ханка вдруг разговорилась. Мы шли мимо развалившегося дома без окон, перед которым были остатки какой-то ограды и одинокий кактус. Ханка сказала:

— Вот здесь живут старые испанцы. Дома не отапливаются, печи — лишь для готовки, не для обогрева. Когда начинаются дожди, старики замерзают. Они пьют напиток, который называют матэ. Укрываются лохмотьями, потягивают матэ и раскладывают пасьянсы. Они католики, но здешние церкви наполовину пусты по воскресеньям. Мужчины в них не ходят — только женщины. Но они ведьмы

и молятся дьяволу, а не Богу. Время для них остановилось — они остались в прошлом — в эпохе королевы Изабеллы и Торквемады*.

Хосе оставил мне много книг, и с тех пор, как я перестала танцевать, за неимением друзей я все время читаю. Я знаю Аргентину. Порой мне кажется, что я жила здесь в одном из прежних воплощений. Здешние мужчины все еще грезят инквизицией и аутодафе. Женщины бормочут заклинания и насылают чары на своих врагов. В сорок лет они уже сморщенные и увядшие. Мужья заводят любовниц, которые немедленно начинают плодить детей, и через несколько лет они такие же ревнивые, злые и потрепанные, как и жены. Возможно, они не знают этого, но многие здешние испанцы происходят от марранов**. Кое-где в отдельных провинциях есть секты, в которых зажигают свечи вечером в пятницу и соблюдают еще кое-какие еврейские обычаи. Вот мы и пришли.

На той улочке, на которую мы свернули, что-то строили. Мостовой и тротуаров не было. Мы пробирались между штабелями досок и грудами кирпичей и цемента. Тут стояло несколько недостроенных домов без крыш, с незастекленными окнами. Дом, где обитал Хулио, был узким и приземистым. Ханка постучала, но никто не отозвался. Она толкнула дверь, та отворилась, и мы прошли через крохотную прихожую в тускло освещенную комнату, вся обстановка которой состояла из двух стульев и комода. На одном стуле сидел Ехиель. Я узнал его, лишь зная заранее, что его увижу. Он выглядел древним стариком, но сквозь его постаревшее лицо, как сквозь маску, проглядывал былой Ехиель. Его череп был гол, лишь на висках торчал сколько клочков волос, не седых и не черных — бесцветных. У него были ввалившиеся щеки, острый подбородок, горло, как у ощипанного петуха, и сизый нос алкоголика. Половину лба и одну из щек покрывали пятна какой-то красной сыпи. Когда

---

* Изабелла (1451—1504) — королева Кастилии. Отличалась религиозным фанатизмом.

Торквемада Томас (ок. 1420—1498) — глава испанской инквизиции, инициатор изгнания евреев из Испании (1492).

** Так назывались евреи в Испании и Португалии, принявшие христианство по принуждению, но тайно соблюдавшие предписания иудаизма. Марраны были причиной как введения инквизиции в Испании, так и полного изгнания евреев оттуда.

мы вошли, он не поднял век. В этот вечер я так и не увидел его глаз. На другом стуле сидела приземистая и широкобедрая женщина с растрепанными волосами цвета пепла; на ней был поношенный капот. Ее лицо было круглым и одутловатым, глаза — пустыми и водянистыми, такие глаза можно увидеть в приютах для душевнобольных. Трудно было определить, сорок ей или шестьдесят. Она ни разу не шелохнулась. Она напомнила мне набитую опилками куклу.

Из сказанного Ханкой я заключил, что она близко знакома с ними и рассказывала им обо мне. Однако теперь мне казалось, что они встретились впервые.

Я сказал:

— Ехиель, я твой двоюродный брат Исаак, сын Бас-Шебы, мы встречались в Тишевице, а потом в Варшаве.

— Si.

— Ты узнаешь меня?

— Si.

— Ты забыл идиш? — спросил я.

— Нет.

Нет, он не забыл идиш, но, казалось, забыл, как разговаривают. Он клевал носом и зевал, мне приходилось вытягивать из него каждое слово. На все мои вопросы он отвечал «si», «no» или «bueno». Ни он, ни его жена не сделали никаких попыток куда-нибудь усадить нас или предложить стакан чая. Хотя я совсем не высок, моя голова почти касалась потолка. Ханка, прислонясь к стене, молчала. С ее лица исчезло всякое выражение. Я подошел к жене Ехиеля и спросил:

— У вас кто-нибудь остался во Фрамполе?

Она очень долго, как мне показалось, не отвечала, потом сказала:

— Никого.

— Как звали вашего отца?

Она задумалась, словно припоминая.

— Аврам Итча.

— Чем он занимался?

Вновь долгая пауза.

— Сапожник.

Через полчаса я устал вытягивать ответы из этой онемевшей четы. Вокруг них была атмосфера какого-то изнеможения, которая озадачивала меня. Всякий раз, когда я обращался к Ехиелю, он вздрагивал, словно я разбудил его.

— Если я вам понадоблюсь, вы можете позвонить в отель «Космополитен»,— сказал я наконец.

— Si.

Жена Ехиеля не произнесла ни звука, когда я пожелал ей спокойной ночи. Ехиель пробормотал что-то невразумительное и в изнеможении откинулся на стуле. Мне почудилось, что я слышу его храп. На улице я сказал Ханке:

— Если такое возможно, то возможно все.

— Нам не следовало навещать их вечером,— сказала Ханка,— они оба больны. У него астма, у нее плохое сердце. Я вам говорила, они познакомились в Освенциме. Вы заметили номера на их запястьях?

— Нет.

— Те, кто стоял на пороге смерти, навсегда остались мертвыми.

Я слышал эти слова от Ханки и прежде от других беженцев, но здесь, на темной улочке, они заставили меня содрогнуться. Я сказал:

— Кто бы ты ни была, будь так добра, поймай мне такси.

— Si.

Ханка обняла меня и, опираясь на мою руку, крепко прижалась ко мне. Я не шелохнулся. Мы молча остановились на этой улочке, и острый как иголка дождь начал падать на нас. Кто-то выключил свет в доме Хулио, и вдруг стало так же темно, как в Тишевице.

Солнце сияло, небо прояснилось и стало синим и летним. В воздухе пахло морем, манговыми и апельсиновыми деревьями. Цветы осыпались с ветвей. Ветерок напомнил мне Вислу и Варшаву. Подобно погоде, прояснялась и ситуация с моим турне. Всякого рода общества приглашали меня выступать и устраивали в мою честь банкеты. Школьники приветствовали меня песнями и танцами. Может показаться странным, что такая суета поднялась из-за какого-то писателя, но Аргентина достаточно изолирована, и, когда приезжает гость, его принимают здесь с преувеличенным дружелюбием.

Хацкель Полива сказал:

— Это все потому, что вы избавились от Ханки

Я не избавлялся от нее. Я искал ее. С того вечера, как мы навещали Хулио, Ханка ни разу не зашла ко мне. И не было

никакого способа связаться с ней. Я не знал, где она живет, я даже не знал ее фамилии. Я не раз спрашивал у нее адрес, но она всегда уклонялась от ответа. От Хулио тоже не было никаких вестей. Как я ни старался описать его улочку, никто не мог ее опознать. Я заглянул в телефонную книгу — имя Хулио в ней не значилось.

Я возвращался в свой номер поздно. Выходить по вечерам на балкон стало у меня привычкой. Дул свежий ветер, приносивший мне приветствия из Антарктики и с Южного полюса. Я поднимал глаза и видел другие звезды, другие созвездия. Некоторые группы звезд напоминали мне согласные и гласные звуки и их музыкальные обозначения, которые я заучивал в хедере,— алэф, хэй, шурук, сегол, цейре. Серп луны, казалось, висел, вывернувшись наизнанку, готовый к жатве своих небесных нив. Над крышами улицы Хунин тянулось южное небо, странно низкое и божественно отдаленное — некая космическая миниатюра в книге без начала и конца, прочесть и оценить которую может лишь написавший ее. Я мысленно обращался к Ханке: «Почему ты сбежала? Где б ты ни была, возвращайся. Этот мир неполон без тебя. Ты вечная буква в Господнем свитке».

В Мар-дель-Плата нашлось помещение, и мы отправились туда вместе с Хацкелем Поливой. В поезде он сказал мне:

— Вам это покажется диким, но здесь в Аргентине коммунизм — это забава для богатых. Бедняк не может стать членом здешней коммунистической партии. Не задавайте мне вопросов. Так уж повелось. Богатые евреи, у которых есть виллы в Мар-дель-Плата и которые придут сегодня вечером на вашу лекцию, все — левые. Сделайте милость, не говорите им о мистике. Они не верят в нее. Они постоянно болтают о социальной революции, хотя, если такая революция произойдет, они будут первыми ее жертвами.

— Это само по себе достаточно мистично.

— Да, но мы хотим, чтобы ваша лекция имела успех.

Я послушался совета Поливы. Я ни словом не обмолвился о тайных силах. Я прочел один из своих юмористических очерков. Когда я кончил и начались вопросы и ответы, поднялся какой-то старик и спросил меня о моем влечении к сверхъестественному. Вскоре вопросы на эту тему посыпались со всех сторон. В этот вечер богатые евреи из Мар-дель-Плата обнаружили огромный интерес к

телепатии, ясновидению, дибукам, предчувствиям, перевоплощению. «Если существует посмертная жизнь, почему уничтоженные евреи не мстят нацистам?» «Если существует телепатия, зачем нам телефон?» «Если возможно мысленно влиять на неодушевленные предметы, как же банку казино удается получать высокие прибыли, имея лишь на один шанс больше, чем клиенты?» Я отвечал, что, если бы существование Бога, души, посмертного бытия, индивидуального провидения и всего, что имеет отношение к метафизике, было бы научно доказано, человек лишился бы высочайшего из пожалованных ему даров — свободы выбора.

Председательствующий объявил, что следующий вопрос будет последним, и один молодой человек, поднявшись, спросил:

— Был ли у вас личный опыт такого рода? Случалось ли вам видеть духов?

Я отвечал:

— Весь мой такого рода опыт был двусмысленным. Ни один из случаев не может служить свидетельством. И все же от этого я только сильнее верю в духов.

Раздались аплодисменты. Когда я кланялся и благодарил своих слушателей, я вдруг увидел Ханку. Она сидела среди публики и хлопала в ладоши. На ней были та же черная шляпа и черное платье, в котором она была при всех наших встречах. Она улыбнулась мне и подмигнула. Я был ошеломлен. Неужто она поехала за мной в Мар-дель-Плата? Я вновь посмотрел в ее сторону, но она исчезла. Нет, это была галлюцинация. Это длилось лишь одно мгновение. Но я буду размышлять над этим мгновением до конца своих дней.

Модница

1

И как это богатая девица ухитряется остаться незамужней? Этого, дети мои, никто вам не объяснит.

Недостатка в партиях не было. Две ее сестры вышли замуж, а три брата женились, каждый в свой срок, но она, Адель — по-настоящему ее звали Ходель,— осталась старой девой. Мы жили в их доме, и хоть она была старше меня по крайней мере лет на двадцать, мы подружились. Брачные маклеры все еще ходили за ней по пятам, хотя ей тогда уже было за сорок. Ее отец, реб Самсон Цукерберг, был богачом, имел долю в сахарном деле. Ее мать была родом из ученого семейства.

В юности Адель вовсе не была безобразной, хотя она всегда была слишком худой — маленькая, безгрудая и смуглая, как мать. Глаза ее были черными и волосы тоже, хотя позднее в них прядями пробилась седина. В нашем городе такие волосы называли кладбищенской травой. И все-таки женщины куда безобразней находили себе мужей. По тем временам старые девы были в диковинку даже в семьях портных и сапожников. Чего-чего, а еврейских женских монастырей на свете нет.

Иные девицы не могут найти себе мужа из-за дурного нрава или оттого, что слишком разборчивы. Адели некогда было злиться. Все неприятности происходили с ней из-за помешательства на нарядах. Она попросту не могла больше ни о чем думать. Не верите? Один проповедник приходил в наш город и сказал, что все может сделаться — как ее? — страстью, даже лузгание семечек. Мысли Адели были поглощены нарядами. Даже когда ее знакомили с мужчиной, она прежде всего подмечала и рассказывала мне, как тот одет.

Она толковала о том, что ворот его рубахи слишком открыт, пальто расстегнуто или что его ботинки не начищены. Она замечала то, на что другие не обращают внимания. Раз она рассказывала мне об одном мужчине, что у него пучки волос в ноздрях и что это ей отвратительно. Какое дело женщине до таких пустяков? Другой раз она жаловалась, что от жениха плохо пахнет. Я помню ее присловье: «Все мужчины смердят». Это же ужас так рассуждать. Как будто мы, женщины, созданы из одних розовых лепестков. У нее была странная привычка все время мыться. При ней почти всегда был флакон нюхательной соли. Сколько раз я ее угощала чаем или яблочным компотом, и она всегда находила пылинки или крапинки сажи на посуде. В те времена если кто сшил себе платье или костюм, то уж носил его годами, но если Адель надевала что-нибудь три раза кряду — это уж было слишком. После смерти отца она унаследовала его дом и лавки в том же доме. Старик к тому же отложил для нее приданое, но все это состояние она износила на себе.

Хоть Адель и была старой девой, ее приглашали на свадьбы, обрезания и помолвки. У нее было много родственников в Люблине и в Варшаве. Она всегда носила им подарки, и из-за каждого подарка устраивала страшную суету. Всякая безделушка должна была быть такой, а не этакой и подходить к случаю.

С тех пор как я впервые встретилась с ней, я все время слышала от нее одно и то же: «Мне нужно идти на примерку». Нынче это накидка, в другой раз — юбка, а в следующий раз — жакетка или блузка. Ей вечно нужно было спешить к сапожникам, модисткам, скорнякам и портнихам. Все должно было быть под стать. Если платье зеленое, нужны зеленые туфли и зеленая шляпа. На шляпе должно быть зеленое перо, и зонтик должен быть зеленым. Кто еще в Люблине хлопотал о таком вздоре. Разве что дамы из поместья или жена губернатора.

А обойдешься ли одной примеркой? Тут у нее — лишняя складка, там — вставка кривая. Она выписывала журналы мод из Парижа со всеми новыми фасонами. Обычно моды сперва доходили до Варшавы, а потом примерно через год — до Люблина. Но раз уж Адель получала журналы прямо из первых рук, все у нее получалось задом наперед. Едва начнут

носить платья покороче, а она уже заказывает длинные. Все портные сбились с толку. Когда она выходила на Левертовский проспект, прохожие останавливались и глядели на нее, как на помешанную.

Пока были живы ее мать и отец, брачные маклеры не теряли надежды. Они устраивали встречи с мужчинами, и всякий раз для такой встречи она наряжалась, как невеста. Но ничего из этого не выходило. Когда родители умерли, брачные маклеры отступились от нее. Сколько можно бегать за этакой особой. Если девица никого не хочет, ее в конце концов оставляют в покое.

Я вышла замуж, когда мне было семнадцать. Когда ей перевалило за пятьдесят, у меня уже были взрослы дети. В тридцать шесть лет я стала бабушкой. У нас была галантерейная лавка. Мы продавали мерный лоскут, подкладку, холст, украшения и пуговицы. Наша лавка была в ее доме, и она всегда что-нибудь выискивала: пуговицу, ленту, кружева, бусы. Она простаивала в лавке часами — что-то щупала и разглядывала. Мой муж упокой, Господи, его душу, был по природе гневливый мужчина. Он не терпел ее. «Что она ищет? — спрашивал он.— Прошлогодний снег? Для кого она наряжается? Для ангела смерти?» Он сам не знал, насколько был прав. Она приходила и задавала мне вопросы, как будто я понимаю в таких вещах. «Можно ли носить зеленую шаль поверх коричневой накидки? Как одеться на праздник по поводу рождения первенца?» Вы, молодые, не знаете, но в то время моды были совсем другими: ротонды, узкие длинные юбки с перехватом внизу и еще сама не помню что. Вам небось кажется, что в прежние времена люди ходили в убогой одежде. Вовсе нет. Тот, кто мог себе позволить, разряжался в пух и прах. Но Адель, Боже сохрани, дошла до умопомешательства. У нее было около пятидесяти кринолинов. Все ее шкафы были забиты. Еще она любила мебель и антикварные вещицы. Родители оставили ей вдоволь безделушек, но чуть ли не каждую неделю она покупала еще какую-нибудь безделицу: сперва такое зеркало, потом этакое, стул на прямых ножках, стул на гнутых ножках.

Она не раздаривала своих старых вещей. Нет, она искала, кому бы их продать. Когда вы что-нибудь покупаете, торговец ждет от вас хороших денег. Но когда вы продаете те

же вещи, покупатель старается взять их за бесценок. Ее обманывали и грабили. Я уже говорила, она совсем высохла — кожа да кости. Ей просто некогда было есть. У нее была кухня и посуда не хуже царской, но она редко что-нибудь стряпала. В прежние годы у нее была служанка. Теперь она отпустила служанку, потому что все деньги уходили на баловство. По тем временам полнота считалась красивой. Даже тучные женщины носили накладки на бедрах и турнюры, чтобы казаться круглее. Корсеты надевали, лишь отправляясь за границу. Адель каждое утро надевала корсет так же непременно, как благочестивый еврей — свой талес. Такой сморщенной и тощей, как она, корсет был нужен, как дырка в голове, и все же она не смела ступить за порог без корсета, как будто кто-нибудь мог заметить, есть он на ней или нет. Всем наплевать. Ходи хоть нагишом. Ее сестры были уже бабушками и прабабушками. Адель и сама могла бы к этому времени быть бабушкой. И все равно, моя дверь открывалась, входила Адель, черная как уголь — щеки ввалились, под глазами мешки,— и говорила: «Лея Гиттель, я еду на воды, и мне нечего надеть».

Богачи, страдавшие желчным пузырем или печенью, обычно каждое лето ездили в Карлсбад, Мариенбад или хотя бы в Налентшов. Слишком полные отправлялись во Франценбад, чтобы сбросить вес. Иные ездили в Пижчаны принимать грязевые ванны. Какие заботы у богачей? Еще туда ездили устраивать браки. Везли своих дочерей и водили их там по кругу, как коров на базаре. Там хватало и брачных маклеров и молодых людей, приглядывавших себе богатую девицу. Они толпились там, как на ярмарке. Девицам полагалось пить минеральные воды, пока мамаши острым глазом высматривали будущих женихов.

Если у вас дочери, что тут поделаешь? Но для чего Адели эти ванны? Она ездила туда показать себя во всей красе и посмотреть, что носят тамошние женщины. Ее там знали и смеялись над ней. Она расхаживала одна-одинешенька или привязывалась к какой-нибудь подружке из Люблина и ходила за ней по пятам. Она избегала мужчин, да и они вовсе не бегали за ней. Вместо того чтобы поправиться на курорте, она возвращалась совсем истощенной. Она все видела, все слышала, знала про все интриги. И в те времена не все были

святыми. Девицы из богатых домов знакомились с офицерами, мошенниками и черт знает с кем. Стоило какой-нибудь Девице уронить платок, и тотчас являлся волокита — поднимал платок и раскланивался перед ней, словно она графиня. Он шел за ней и пытался условиться о свидании. Мамаша тащилась следом, лопаясь от злости, но не смея ничего сказать — новые времена уже начались. И когда они только начались, эти новые времена? Яйца стали учить куриц. И все же девица должна была иметь — как ее? — незапятнанную репутацию и если девица вела себя слишком дурно, она становилась притчей во языцех. Так или эдак, но всегда случались неприятности. И все же девицы оказывались помолвленными. А что еще надо?

Но Адель только зря переводила деньги. Она покупала груды шелка, бархата, кружев и всякой всячины. На границе ей приходилось платить пошлину, и вся дешевизна шла прахом.

Да, на Рош Ашана и Йом Киппур Адель покупала себе место в синагоге. Но одевалась так, что и представить невозможно. Она готовила себе целый гардероб как на свадьбу. На самом деле она никогда не была благочестивой. В синагоге она не молилась, а пялилась на женские наряды. Порой ее место оказывалось рядом с моим. Кантор запевал литургию, женщины обливались слезами, а Адель все шептала мне на ухо про платья, украшения, про то, как одета одна и как разрядилась другая. Ей тогда уже шел седьмой десяток. По правде сказать, она никогда не выглядела прилично, несмотря на все свое модничанье. Была в ней какая-то убогость, которую не могли прикрыть наряды. Как-то получалось, что она всегда казалась растрепанной и помятой, словно спала одетой. И все же никому в голову не приходило, что она способна сделать то, что она потом сделала.

2

Говорят, что старые девы не живут подолгу. Чистый вздор. Эта Адель пережила двух своих сестер и трех братьев. Она лишилась зубов и осталась с пустым ртом. Почти все

волосы ее вылезли, и ей приходилось носить парик. Тем временем я потеряла мужа, но осталась жить в том же разваливающемся доме, хоть мне и пришлось отказаться от лавки.

К чему я это все говорю? Да, Адель. Она по-прежнему наряжалась, бегала к портным и глядела, что бы такого купить по дешевке, точно так же, как в молодости. Однажды, когда я пришла к ней домой, она стала рассказывать мне о том, кому оставит свое имущество. Она написала завещание, упомянув всех своих родных — женщин, не мужчин. Этой племяннице — шубу, той племяннице — другую шубу, одной — персидский ковер, другой — китайский ковер. Никто не отказывается от наследства, но кому нужна одежда сорокалетней давности? У нее были наряды времен короля Собеского*. У неё было белье, которое она ни разу не надела, но стоило дотронуться до него, и оно расползалось как паутина. Каждое лето она пересыпала имущество нафталином, но моль все равно добиралась до него. У нее было с десяток сундуков, и она их все открыла передо мной. Когда-то за эти вещи заплатили бы по-царски, но теперь они не стоили ни гроша. Даже ее украшения успели выйти из моды. В прежние времена носили тяжелые цепи, большие броши, длинные серьги и пудовые браслеты. А теперь молодым женщинам нравится что полегче. Ну вот, значит, я слушала ее и кивала.

Вдруг она говорит: «Я готовлюсь и к будущей жизни!» Я подумала, что она оставляет что-нибудь бедным невестам или сиротам, но она открыла какой-то сундук и показала мне свои саваны.

Люди добрые, много я повидала на своем веку, но, когда я увидела эти саваны, я не знала, смеяться мне или плакать: самое дорогое полотно, кружева так и пенятся, капюшон впору папе римскому. Я сказала ей: «Адель, евреев не облачают в роскошные погребальные наряды. Я не сильна в Писании, но знаю. Это гои наряжают своих мертвых кто во что горазд, а всех евреев погребают одинаково. И зачем покойнику модничать? Чтоб понравиться червям?» А Адель сказала: «И все же мне нравятся красивые вещи».

---

* Собеский Ян (1629—1696) — король Речи Посполитой (Ян Ш).

Я сообразила, что она не в своем уме, и сказала ей: «Мне-то что, но погребальное общество никогда этого не допустит». Думаю, она ходила спросить у раввина, и тот сказал ей, что саваны делаются из грубого полотна. Нельзя использовать даже ножниц — полотно приходится рвать. Женщины не сшивают их, а лишь сметывают. Зачем хлопотать о теле после того, как оно перестало существовать?

По закону, если кто-нибудь умирает в первый день праздника, похороны устраиваются на второй день. Это разрешено. Но как быть с саваном? Никому не позволено шить саван в праздник. Есть старухи, которые заранее готовят себе саван, и, если возникает нужда, они уступают его, а семья или община возмещают им убытки. А если не возмещают, много ли стоят несколько локтей полотна? Есть поверье, что отдавший саван будет жить долго, а каждый хочет жить, даже тот, кто уже одной ногой стоит в могиле.

Тогда в месяц Элул* случилась настоящая эпидемия. Накануне Рош Ашана и на следующий день умерло человек двадцать. Женщины из погребального общества знали, что у Адели запасены саваны, и пришли просить их. Кто откажет в такой просьбе? Но Адель сказала: «Я не отдам свои саваны». Она открыла сундук и показала им свое сокровище. Женщины едва взглянули и стали плеваться. Они ушли, не пожелав ей доброго праздника. Я при этом не была, но Адель прибежала ко мне в слезах. Чем могла я ей помочь? У меня тоже было тяжко на душе от своих бед. Покуда муж был жив, праздник Рош Ашана и впрямь казался праздником. Обычно муж трубил в шофар** в синагоге. Он читал благодарственные молитвы не над кистью винограда, как у других, а над ананасом, стоившим пять рублей. Когда женщина одна, дети переженились и разбрелись по всему свету, что делать? А она приходит плакать у меня на плече. Она боялась, что мой покойный муж отомстит ей. Я утешала ее. Я ей сказала, что,

---

* Сентябрь.

** В Библии — рог. В пятницу вечером шесть раз раздавался звук шофара: после первого народ прекращал работу в поле, после второго прекращалась торговля, после третьего зажигались субботние свечи. Звуки шофара служили знаком наступившей Субботы. Позднее в шофар стали трубить только в ходе утренней молитвы на Рош Ашана после молитвы на исходе Йом Киппура.

если бы мертвые вмешивались в дела живых, мир не смог бы существовать. Если кто покинул эту землю, все счеты с ним забыты.

Не знаю, из-за саванов или просто я была в огорчении, но я перестала навещать ее. И она ко мне не ходила. По правде сказать, о чем нам было разговаривать? У нее не было ни детей, ни внуков. Рано или поздно она начинала лепетать о своих нарядах. Она согнулась и сморщилась. Мне даже казалось, что она грязная. На лице ее выросло много бородавок. Мы жили в разных подъездах, и я почти забыла о ней.

Как-то раз одна женщина, моя соседка, пришла ко мне и сказала: «Лея Гиттель, я хочу тебе кое-что сказать, но ты не полошись. В вашем возрасте нельзя слишком огорчаться».

— Что случилось? — спросила я.— Небо обрушилось землю или воры из Пяска сделались честными людьми.

Она сказала:

— Услышав о том, что случилось, ты подумаешь, что я сошла с ума, и все же то, что я скажу,— правда.

— Ну,— сказала я,— хватит ходить вокруг да около — выкладывай.

Соседка бросила на меня испуганный взгляд и сказала:

— Адель того гляди обратится.

— Боюсь,— сказала я соседке,— ты впрямь не в своем уме.

— Я знала, что ты так скажешь,— ответила соседка.— Священник навещает ее каждый день. Она сорвала мезузу с дверного косяка.

— Да сбудутся мои дурные сны на наших супостатах,— сказала я.— Я еще понимаю, когда молоденькая становится отступницей для того, чтобы поправить свои дела. Иной отдаст загробную жизнь за несколько лет хорошей жизни на этой земле. Но зачем обращаться старухе?

— Вот и я бы хотела это знать,— сказала соседка.— Я стучала в дверь к Адели, но она не открыла. Пожалуйста, сходи к ней, вдруг тебе удастся узнать, что случилось. Священник приходит к ней каждый день и сидит у нее часами. Кто-то видел, как она входила в женский монастырь.

Меня как громом поразило.

— Ладно,— сказала я,— пойду узнаю.

Я была уверена, что все это либо ошибка, либо вранье. Даже в безумстве есть какой-то смысл. И все же когда я захотела встать, мои ноги стали тяжелыми, как бревна. Я знала свою соседку — она была не из тех, кто придумывает небылицы.

Я подошла к дверям Адели — на косяке больше не было мезузы. На том месте, где висела мезуза, остался след. Я постучала в дверь, но никто не отозвался. Должно быть, это сон, сказала я себе. Я ущипнула себя за щеку — щеке было больно. Я продолжала стучать до тех пор, пока не услышала шаги. В дверях Адели был глазок с откидной заслонкой изнутри. Если живешь одна, вечно боишься воров, особенно когда твои шкафы битком набиты. Она уставилась на меня одним глазом, и меня пробрала дрожь. Она чуть приоткрыла дверь и через щель спросила меня сердито:

— Что тебе надо?

— Адель, ты не узнаешь меня?

Она ворчала, открывая дверь и пропуская меня в квартиру. Она глядела на меня подозрительно, лицо её было бледным как смерть. Я сказала:

— Адель, мы дружили все эти годы. Разве я причинила тебе какое-нибудь зло? И отчего ты сняла мезузу? Или, не приведи Господь, то, что я слышала,— правда?

— Правда. Я больше не еврейка,— сказала она.

В глазах у меня потемнело, и мне пришлось сесть хотя она не предлагала садиться. Я попросту рухнула на стул. Я чуть не упала в обморок, но удержалась. Я спросила:

— Зачем ты это сделала?

И она ответила:

— Я не должна ни перед кем отчитываться, но я сделала это потому, что евреи позорят мертвых. Христиане одевают покойника в самую красивую одежду. Они кладут его в гроб и покрывают цветами. Евреи обматывают своих мертвых лохмотьями и бросают в грязную яму.

Короче говоря, она обратилась, потому что хотела быть нарядной в своей могиле. Она сказала мне об этом не таясь. Все началось с кружев на ее саванах. Она так долго размышляла и до одури тревожилась, что наконец пошла к священнику...

Если бы я взялась пересказать вам все, о чем мы с ней

говорили в тот день, мне бы пришлось сидеть с вами до завтрашнего утра. В тот день она была точь-в-точь ведьма. Я умоляла ее одуматься, но с таким же успехом я могла бы умолять камень.

— Я не потерплю,— сказала она,— чтобы меня выбросили, как мусор.

Ей были не по душе черепки на глазах и лоза между пальцев. Ей не нравились еврейские похороны с рыданиями плакальщиков и лошадьми, задрапированными в черное. Христианский катафалк убран венками, и идущие за ним служители несут фонари и одеты торжественно, как рыцари в старину. Она открыла шкаф и показала мне свое новое погребальное одеяние. Увы мне, она запасла себе целое приданое. Она уже купила себе могилу на католическом кладбище и заказала памятник. Помешанная? Конечно, она была помешанной, но обезумела она от своей суетности. Переезжать под старость нелегко, но я немедленно выехала из ее дома, как и все соседи. Даже владельцы лавок куда-то съехали. Драчуны нашей улицы хотели избить ее, но старшие предупредили младших, чтобы те не смели ее касаться. Поляки убили бы нас всех. После того как мы съехали, мне говорили, что она купила себе свинцовый гроб, обитый щелком, и держала у себя дома до дня своей смерти. Она прожила всего девять месяцев после обращения. Почти все это время она пролежала больная в постели. Какая-то старая монахиня приносила ей еду и лекарства. Больше никого она к себе не пускала.

Она оставила свое имущество церкви, но воры добрались до него прежде. Ее братья и сестры — все умерли. За несколько дней до ее смерти зарядил дождь, и ее могила наполнилась водой и грязью.

Да, страсть. Человек начинает о чем-нибудь томиться, и томление ударяет ему в голову. Лишь позднее одна из племянниц Адели рассказала мне, что ее тетя никогда не ходила к врачу, заболев, потому что у нее было родимое пятно на груди. По той же причине она уклонялась от замужества — ей пришлось бы совершить ритуальное омовение и обнаружить свой недостаток. От нее всегда разило духами.

Я всегда говорю: не следует слишком увлекаться —

ничем, даже Торой. В Ровно был один молодой знаток Писания, который так хорошо изучил Маймонида*, что стал неверующим. Его прозвали Мошка Маймонид. Он знал всего Маймонида наизусть. В Субботу он сидел у окна с папиросой в зубах и читал вслух Маймонида. Когда рабби подходил, чтобы выговорить ему, они затевали спор, и Мошка пытался доказать раввину, что, согласно Маймониду, курить в Субботу не запрещено. В одну из Суббот его погнали из города, он вбежал прямо в Вислу и утонул. В своем надгробном слове раввин сказал:

— Маймонид будет ему заступником. Никто не знал Маймонида лучше, чем этот сумасшедший.

---

* Маймонид (Моше бен Маймон) (1135—1204) — еврейский философ, толкователь Талмуда.

Сын

Пароход из Израиля должен был прибыть в полдень, но он опаздывал. Только с наступлением вечера пароход вошел в нью-йоркский порт, но пришлось еще довольно долго ждать, пока пассажиров выпустят на берег. На пристани было жарко, и шел дождь. Толпа людей собралась в ожидании прибытия парохода. Мне казалось, что здесь сошлось все еврейство: те, кто ассимилировался, раввины с длинными бородами и пейсами, девушки с номерами на руках, вытатуированными в гитлеровских лагерях, сотрудники сионистских организаций с туго набитыми портфелями, ученики ешив в бархатных шапочках с буйно разросшимися бородами, светские дамы, нарумяненные и с красными ногтями на пальцах ног. Я понимал, что являюсь свидетелем некоей новой эпохи в еврейской истории. Когда это у евреев были корабли? А если и были, то они плавали в Тир и Сидон, а не в Нью-Йорк. Если даже безумная теория Ницше о вечном возвращении верна, то пройдут квадриллионы и квинтиллионы веков прежде, чем малая доля из происходящего в настоящем совпадет с тем, что происходило прежде. Все же ожидание было утомительным. Я мерил взглядом каждого, кто попадался мне на глаза, и всякий раз задавал себе один и тот же вопрос: почему я должен считать его братом? Почему я должен считать ее сестрой? Нью-йоркские женщины обмахивались веерами, говорили все сразу хриплыми голосами и подкреплялись шоколадом и кока-колой. Какая-то нееврейская твердость проглядывала в их глазах. Трудно было поверить, что всего несколько лет назад их братья и сестры в Европе шли, как овцы, на убой. Соименные молодые ортодоксы в крошечных ермолках, скрытых, как пластыри, в их густых волосах, громко говорили по-английски и шутили с девицами, чьи манеры и наряды никак не свидетельствовали об их религиозности.

Даже здешние раввины были совсем иными — не такими, как мой отец и дед. По мне, все эти люди были слишком суетными и дошлыми. Почти все, кроме меня, запаслись пропусками на пароход. Они необычайно легко знакомились, обменивались информацией и понимающе кивали головами. Корабельные офицеры стали сходить на берег, но они казались чопорными в своей форме с эполетами и золотыми пуговицами. Они говорили на иврите, но с акцентом, как иностранцы.

Я стоял и ждал сына, которого не видел двадцать лет. Ему было пять, когда мы с его матерью расстались. Я отправился в Америку, она — в Советскую Россию. Но, очевидно, одной революции ей было мало. Она хотела «перманентной революции». И ее бы ликвидировали в Москве, если бы кто-то не замолвил за нее словечко перед неким высокопоставленным лицом. Ее тетки, старые большевички, сидевшие в польских тюрьмах за коммунистическую деятельность, просили за нее, и она вместе с ребенком была депортирована в Турцию. Оттуда ей удалось добраться до Палестины, и там в каком-то кибуце она вырастила нашего сына. И теперь он приехал повидаться со мной.

Он прислал мне фотографию, сделанную в ту пору, когда он служил в армии и сражался с арабами. Но фотография была расплывчатой, и к тому же сын был в форме. Только теперь, когда первые пассажиры начали сходить на берег, мне пришло в голову, что я не очень точно представляю, как выглядит мой сын. Какой он — высокий? Низкий? Может быть, его белокурые волосы за эти годы потемнели? Приезд сына в Америку отбросил меня назад в эпоху, которую я считал уже канувшей в вечность. Сын являлся из прошлого как некий призрак. Он не имел отношения ни к моему нынешнему обиталищу, ни к тем людям, с которыми я был связан за пределами этой страны. У меня не было для него ни комнаты, ни постели, ни денег, ни времени. Так же как этот пароход, над которым развевался бело-синий флаг со звездой Давида, сын являл собой странное сочетание прошлого и настоящего. Он писал мне, что забыл все языки, на которых говорил в детстве — идиш, польский, русский, турецкий,— теперь он говорит только на иврите. Таким образом, мне уже было ясно, что с моим слабым знанием иврита, почерпнутым

из Пятикнижия и Талмуда, я не смогу с ним толком поговорить. Вместо того чтобы беседовать со своим сыном, я буду запинаться и лазить в словари.

Сутолока и шум усиливались. Пристань была в смятении. Каждый пронзительно кричал и проталкивался вперед с той аффектированной радостью, которую свойственно выражать людям, лишившимся критерия для оценки своего положения в этом мире. Женщины истерически кричали, мужчины хрипло плакали. Фотографы делали снимки, а репортеры бросались от одного к другому и наспех брали интервью. Затем произошло то, что всегда происходит со мной, когда я становлюсь частью толпы. Все стали членами одной семьи, а я остался в стороне. Никто не заговаривал со мной, и я ни с кем не заговаривал. Тайная сила, объединявшая их, оставляла меня в стороне. Рассеянные взгляды скользили по мне, как бы спрашивая: а этот что здесь делает? После некоторого колебания я пытался задать вопрос какому-то человеку, но он не расслышал меня, во всяком случае, ушел на середине моей фразы. С равным успехом я мог бы быть привидением. Немного погодя я, как всегда, решил смириться со своей участью. Я стоял в стороне от прохода в каком-то углу и наблюдал, как люди спускаются с корабля, классифицируя их в уме. Мой сын не мог быть среди старых и пожилых. У него не может быть черных как смоль волос, широких плеч и пламенного взора — ничего подобного не могло изойти из моих чресел. Но внезапно появился молодой человек, необычайно схожий с тем солдатом на фотоснимке — высокий, худой, слегка сутулый, с довольно длинным носом и узким подбородком. Что-то во мне прокричало: это он! Я рванулся из своего угла и побежал к нему. Он кого-то искал. Отеческая любовь проснулась во мне. Щеки его ввалились, и какая-то болезненная бледность покрывала его лицо. Он болен, у него чахотка, подумал я встревоженно. Я уже было открыл рот, чтобы крикнуть «Гиги» (так мы с матерью называли его, когда он был маленьким), но внезапно какая-то тучная женщина подковыляла к нему и заключила его в свои объятия. Ее плач стал чем-то походить на лай, а вскоре подоспела целая куча родственников. Они вырвали у меня сына, который к тому же оказался не моим. Во всем этом было что-то от духовного похищения. Мои отеческие чувства

были посрамлены и поспешно отступили в такое тайное убежище, где душевные волнения могут таиться годами, не издавая ни звука. Я почувствовал, что покраснел от унижения словно получил пощечину. С этого момента я решил терпеливо ждать, удерживая свои чувства от преждевременных проявлений. Некоторое время больше никто не сходил с корабля. Я подумал: «И что такое сын, в конце концов? Почему мое семя должно для меня значить больше, чем чье-то чужое? Что за особенная ценность в плотской и кровной связи? Все мы — накипь в одном и том же котле. Отступи на несколько поколений и обнаружишь у всей этой толпы незнакомцев одного общего предка. А через два или три поколения потомки этих нынешних родственников станут чужими друг другу. Все временно и преходяще: мы — пена на одном и том же океане, ряска одной и той же трясины. Если невозможно любить всех, не следует любить никого.

Вышло еще несколько пассажиров. Трое молодых людей появились вместе, и я стал разглядывать их. Ни один из них не походил на Гиги, а если кто и походил, теперь уж, во всяком случае, никому не удастся вырвать его у меня. Я почувствовал некоторое облегчение, когда каждый из них удалился, кем-то встреченный. Ни один из них мне не понравился. Это был сброд. Шедший последним даже оглянулся и посмотрел на меня агрессивно, словно каким-то таинственным образом угадал, что я мысленно осуждаю его и ему подобных.

Внезапно мне пришло в голову, что если он и вправду мой сын, то он выйдет последним, и, хотя это было только предчувствие, я почему-то знал, что так оно и произойдет. Я вооружился терпением и той покорностью, что всегда есть во мне и в любой момент готова обеспечить мне иммунитет к неудачам или обуздать любое мое желание, в котором я слишком далеко вышел за положенные мне пределы. Я тщательно изучал каждого пассажира и старался определить его характер и индивидуальность по внешнему виду и одежде. Возможно, я это только воображал, но каждое лицо открывало мне свои тайны, и мне казалось, что я точно знаю, как мыслит каждый из них. У всех пассажиров было нечто общее: утомление от далекого путешествия через океан,

раздражительность и неуверенность, свойственная людям, прибывшим в новую страну. Глаза каждого разочарованно вопрошали: и это Америка? Девушка с номером на руке гневно качала головой. Весь мир — сплошной Освенцим. Литовский раввин с круглой седой бородой и глазами навыкате нес увесистый фолиант. Толпа учеников ешивы ожидала его, и, едва приблизившись к ним, он тотчас начал проповедовать с яростным пылом человека, который знает истину и хочет поскорее поделиться своим знанием. Я слышал, как он говорил: «Тора... Тора...» И мне хотелось спросить у него, отчего Тора не защитила миллионы евреев и не уберегла их от гитлеровского крематория. Но что толку спрашивать, когда я заранее знал, что он мне ответит: «Мы с вами разных мыслей». Быть мучеником во имя Господне есть высочайшая привилегия. Один пассажир говорил на таком диалекте, который нельзя было отнести ни к идишу, ни к немецкому,— это была какая-то смесь из старомодных романов, и, как ни странно, те, кто его встречал, говорили на том же наречии.

Я размышлял о том, что во всем этом хаосе есть определенные законы. Мертвые остаются мертвыми. У тех, кто жив, свои воспоминания, расчеты, планы. Где-то в канавах Польши — пепел сожженных. В Германии бывшие нацисты лежат в своих постелях, и на счету каждого из них убийства, пытки, изнасилования и глумления. Где-то должен быть Всеведущий, который знает каждую мысль каждого человеческого существа, который знает о страданиях любой мухи, который знает обо всех кометах и метеорах, о каждой молекуле в самой отдаленной галактике. Я обращался к Нему. Хорошо Тебе, Всемогущий и Всеведущий, для Тебя все справедливо. Твое знание полно, и у Тебя нет недостатка в информации... вот почему Ты такой умный. Но как быть мне с моими разрозненными фактами?.. Да, я должен ждать своего сына. Пассажиры вновь перестали выходить, мне казалось, что уже все сошли на берег. Я стал нервничать. Значит, мой сын не прибыл на этом пароходе? Или я проглядел его? Или он прыгнул в океан? Почти все ушли с пирса, и я чувствовал, что скоро погасят огни. Что ж мне теперь делать? У меня давно было предчувствие — что-нибудь да произойдет с этим сыном, который в течение

двадцати лет был для меня всего лишь словом, именем, укором совести.

Вдруг я увидел его. Он вышел медленно, нерешительно, и по нему было видно, что он не ждет, чтобы его кто-нибудь встречал. Он был схож с изображением на снимке, хоть выглядел старше. На его лице были ранние морщины, и одежда была смята. В нем были очевидны убожество и небрежение бездомного юноши, проведшего годы в чужих краях, который через многое прошел и раньше времени возмужал. Его волосы свалялись и спутались, мне даже показалось, что в них клочки сена и соломы, как у спавшего на сеновале. В его светлых глазах, щурившихся под белесыми бровями, таилась подслеповатая улыбка альбиноса. У него был деревянный ранец, как у новобранца, и какой-то сверток обернутый в коричневую бумагу. Вместо того чтобы тут же броситься к нему, я стоял, открыв рот. Его спина была уже слегка сутулой, но не как у учеников ешивы, а скорей как у тех, кто привык носить тяжести. Он пошёл в меня, но я узнавал черты его матери — другой его половины, которая никогда не смогла бы смешаться с моей. Даже в нем, в этом произведении, наши противоположные черты никак не гармонировали. Материнские губы не сочетались с отцовским подбородком. Выступавшие скулы не соответствовали высокому лбу. Он внимательно посмотрел в обе стороны, и на его лице выразилось благодушное: «Ясное дело, он не пришел меня встречать».

Я приблизился к нему и неуверенно спросил:

— Ата* Гиги?

Он засмеялся.

— Да, я Гиги.

Мы поцеловались, и его щетина ободрала мои щеки, как терка. Он был чужим для меня, и в то же время я чувствовал, что я привязан к нему, как всякий отец к своему сыну. Мы стояли тихо с тем чувством общности, что не нуждается ни в каких словах. Через секунду я уже знал, как мне себя с ним вести. Он провел три года в армии, прошел через жестокую войну. У него, наверное, было Бог весть сколько девушек, но он остался таким же застенчивым, каким может быть только

* Ты.

мужчина. Я заговорил с ним на иврите, несколько изумившись своему собственному знанию. Я немедленно захватил отцовскую власть, и всю мою подавленность как рукой сняло. Я попытался взять его деревянный сундучок, но он не позволил. Мы стояли на улице, выглядывая такси, но все машины уже разъехались. Дождь перестал. Улица тянулась вдоль причалов, влажная, тёмная, плохо замощенная. В асфальте было множество выбоин, и стояли лужи воды, отражавшие куски светящегося неба, низкого и красноватого, как ржавчина. Было душно. Сверкнула молния, но грома не последовало. Отдельные капли воды падали сверху, но трудно было разобрать, то ли это брызги прошедшего дождя, то ли начало нового порыва. Мое чувство собственного достоинства было уязвлено тем, что Нью-Йорк может представиться сыну таким мрачным и тусклым. У меня возникло тщеславное желание немедленно показать ему самые красивые кварталы города. Но мы прождали пятнадцать минут, а никакого такси не появилось. Я уже слышал первые раскаты грома. Делать нечего, надо было идти пешком. Мы оба говорили на один манер — отрывисто и резко. Как старые друзья, каждый из которых знает мысли другого, мы не нуждались в длинных объяснениях. Он сказал мне, почти не прибегая к словам: я понимаю, ты не мог оставаться с матерью. У меня нет к тебе никаких претензий. Я сам из того же теста...

Я спросил его:

— Что это за девушка, та, о которой ты мне писал?

— Славная девушка. Я был у нее инструктором в нашем кибуце. Потом мы вместе пошли в армию.

— Что она делает в этом кибуце?

— Работает на скотном дворе.

— Училась она по крайней мере?

— Мы вместе учились в средней школе.

— Когда вы собираетесь пожениться?

— Когда вернусь. Ее родители настаивают на бракосочетании по всей форме.

Он сказал это таким тоном, который означал: ясное дело, нам обоим ни к чему эти церемонии, но у родителей, имеющих дочерей, другая логика. Я махнул рукой такси, а он попытался протестовать. «Зачем такси? Мы могли бы

пройтись. Мне ничего не стоит пройти много миль». Я сказал шоферу, чтобы он повез нас через Сорок вторую улицу на освещенную часть Бродвея и потом свернул на Пятую авеню. Гиги сидел и смотрел в окно. Никогда я не был так горд небоскребами и огнями Бродвея, как в тот вечер. Сын глядел и молчал. Каким-то образом я постиг, что он думает теперь о войне с арабами и обо всех опасностях, которые он пережил на поле боя. Но те силы, от которых все зависит в этом мире, судили ему приехать в Нью-Йорк и увидеть своего отца. Казалось, он произнес свои мысли вслух, я был уверен, что он, как и я, размышляет над вечными вопросами.

Как будто пробуя свои телепатические силы, я сказ ему:

— Никаких случайностей не бывает. Если тебе пре назначено жить, ты остаешься в живых. Так суждено.

Удивленный, он повернулся ко мне:

— Э, да ты умеешь читать чужие мысли?

И он улыбнулся, изумленно, пытливо и скептически словно я по-отечески подшутил над ним.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие *Т. Ротенберг* …….3
Сын из Америки ……...……18
Венец из перьев ……26
Плагиатор …….....51
Голуби ……....65
Танец ……..76
Тоскующая телка ……...85
Ее сын ……99
Эгоист ……...111
Новогодняя вечеринка ……121
Собственность ……138
Ханка ……149
Модница ……...167
Сын ……....178

Зингер И. Б.

З-63

Сын из Америки: Пер. с англ./ Сост. А. JI. Величанский; Предисл. Т. А. Ротенберг.— М.: Изд. группа «Прогресс» — «Культура», 1993.— 187 с.

Настоящий сборник представляет читателю несколько рассказов одного из интереснейших писателей нашего века — американского прозаика и драматурга, лауреата Нобелевской премии по литературе (1978) Исаака Башевиса Зингера (1904—1991). Зингер признан выдающимся мастером новеллы. Именно в этом жанре наиболее полно раскрываются его дарование и мировоззрение. Для его творческой манеры характерен контраст высокого и низкого, комического и трагического. Страсти и холод вечного сомнения, едва уловимая ирония и неизменное сознание скоротечности такой желанной и жестокой, но по сути суетной жизни — вот составляющие специфической атмосферы его рассказов. Своеобразие творчества писателя определяет и удивительный сплав традиционных религиозных и самых современных представлений, и широта исторического опыта жизни Европы и Америки на протяжении почти всего нашего столетия, и ощущение присутствия в этой жизни Вечности.

$З\frac{4703040100-032}{006(01)-93}$ КБ – 22 – 64 – 92 БК 84.7 США

Исаак Башевис Зингер

СЫН ИЗ АМЕРИКИ

Редактор *Е. И. Солдаткина*

Художник *В. К. Бесингалиев*

Художественный редактор *В. А. Пузанков*

Технические редакторы *В. Ю. Никитина, Т. И. Юрова*

Корректор *Н. И. Шарганова*

ИБ № 19727
Сдано в набор 14.08.92. Подписано в печать 15.12.92. Формат 84x108 $^1/_{32}$.
Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,08.
Усл. кр.отт. 10,50. Уч. изд. л. 10,22. Тираж 30 000 экз. Заказ № 1961. С 032.
Изд. № 48706.

А/О Издательская группа «Прогресс»
119847, Москва, Зубовский бульвар. 17
Можайский полиграфкомбинат Министерства печати и информации Российской Федерации. 143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

Исаак Башевис Зингер (1904 — 1991) — американский прозаик и драматург, лауреат Нобелевской премии (1978), самая значительная фигура в современной еврейской литературе, писал на идише. Родился в польском местечке Радзимин. Его отец и оба деда были раввинами, и он получил соответствующее образование, но раввином не стал. С семнадцати лет начал зарабатывать литературным трудом. Был корректором и одновременно печатал свои рассказы в варшавской еврейской газете «Джуиш дейли форвард». В 1935 году он эмигрировал в США, поселился в Нью-Йорке и продолжал писать на идише. Первым из опубликованных на английском языке его произведений стал роман «Семья Москат» (1950). Перу писателя принадлежат также романы «Усадьба» (1967) и «Поместье» (1970), с «Семьей Москат» образующие трилогию, а также «Сатана в Горае» (1955), «Люблинский чародей» (1960), «Раб» (1962) и др.

И.Б.Зингер издал множество сборников рассказов, пьес, автобиографических зарисовок, а также книги для детей. Он является переводчиком на польский язык произведений Кнута Гамсуна, Томаса Манна и Э.М.Ремарка.

Москва
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА «ПРОГРЕСС»
«КУЛЬТУРА»